

# Алексей Силыч Новиков-Прибой В БУХТЕ ОТРАДА

## РАССКАЗЫ ПО-ТЕМНОМУ

### I

Грязный и жалкий трактирчик, какие бывают только в бедных кварталах. Почерневший потолок. Обои на стенах оборваны, висят клочками. Кое-где виднеются картины лубочного производства. В одном углу скучно тикают большие старые часы со сломанными стрелками. За несколькими столиками сидят извозчики, мелкие торговцы и рабочие. Отдуваясь, звучно прихлебывают из блюдечек горячий чай, пьют водку и жадно уничтожают дрянную закуску. За буфетом, облокотившись на руки, дремлет сиделец, толстый, лысый, в полосатой ситцевой рубаше и засаленном пиджаке.

Духота. Пахнет поджаренным луком, гнилой пищей и водкой. Над головами клубится облако табачного дыма. Говорят вяло, неохотно, избитыми словами. Изредка кто-нибудь крепко выругается, и то не от сердца, а так себе — по привычке. Ни

мысли, ни желаний, точно все уже давно передумано, рассказано и тысячу раз решено. И жизнь кажется такой же бессмысленной, как ход тех часов, у которых сломаны стрелки.

Скучища невыносимая.

Я приютился за угловым столиком, в стороне от других. Передо мною стоит наполовину опорожненная бутылка с пивом. Часа уже два сижу так, занятый одной лишь думой: куда бы скрыться из этого города...

Остаться здесь больше нельзя. Товарищи арестованы. Я тоже хорошо известен полиции, и она разыскивает меня повсюду. Ускользая от нее, я уже несколько недель бегаю по городу с одного конца его на другой, как затравленный зверь. Паспорт мой провален, достать другой нет возможности. У меня положительно нет никакого крова. Треплюсь между небом и землею. Правда, я имею несколько давнишних знакомых, у них можно было некоторое время провести безопасно, но при моем появлении они начинают трепетать за свое благополучие. Некоторые даже не узнают меня. Все это заставляет искать по ночам убежища в каком-нибудь строящемся здании или под мостом; иногда провожу ночи, скитаясь по улицам. Чувствую усталость. Почти в каждом человеке вижу шпиона.

Необходимо куда-нибудь уехать, хорошо

отдохнуть, осмотреться.

Но... в кармане у меня всего шесть рублей...

А главное — меня страшит мысль, что и следующую ночь мне придется скитаться по улицам, дрожа от холода, пугливо озираясь и страшась своей собственной тени. Да и деньгам моим скоро конец...

Что тогда делать?..

Неприятное чувство подавленности и беспомощности овладевает мною. Так жить нельзя; это все равно, что болтаться на гнилой веревке над зияющей пропастью, ежеминутно рискуя сорваться и разбиться вдребезги.

Мрачные думы мои были прерваны двумя лицами, только что вошедшими в трактир. Они сели за столик, рядом с моим, заказав сороковку водки и яичницу с колбасой.

Мое праздное внимание останавливается на них.

Один — здоровенный мужчина лет двадцати восьми. Роста выше среднего. Кряжистый, мускулистый. Голова большая, круглая, крепко сидящая на короткой шее. Русые щетинистые волосы всклокочены. На широком, типично русском лице с небрежно спутанными усами запечатлен тяжелый труд. Но серые глаза смотрят весело и самоуверенно. Голос твердый и сочный, точно пропитанный морскою влагою.

Товарищ его, наоборот, маленький, тощий человек, в каждом движении его чувствуется забитость.

Первый наполняет стаканы водкой и, добродушно улыбаясь, треплет по плечу товарища:

— Ну, брат Гришатак, пропустим. Последний разок русскую пьем. Через неделю позабудемся английской виской.

— За счастливое плавание, — приветствует Гришатак.

Из дальнейших разговоров их я узнал, что оба — матросы и плавают кочегарами на коммерческом пароходе. Слушаю дальше.

Боже мой, они на следующий день уходят в Лондон!

А что, если попросить их, чтобы увезли меня в Англию.

На минуту отвожу взгляд в сторону, стараюсь не выдать своего волнения.

В России для меня, разбитого и измученного, нет больше дела. Если только эти ребята поспособят мне, уеду за границу. Посмотрю, как другие люди живут на свете, отдохну...

В воображении, как в туманной дали, уже рисуется новая жизнь, еще не изведанная, манящая, полная разнообразия.

Как с ними заговорить? С чего начать?

«Смотри, не промахнись, а то пропадешь!» —

всплыла предостерегающая мысль.

«О, нет! Я сам моряк и знаю, как со своими разговаривать: умирай, а шути».

— С корабля, что ли, братцы?

— Да, — отвечает мне здоровенный, как после узнал, Трофимов.

— Надо полагать, роль духов исполняете в преисподней?

— Верно сказано. А вы кто же будете?

— Существо, потерпевшее аварию от норд-остской бури. Потерял руль и компасы. Ношусь по волнам житейского моря, куда гонит ветер. Случайно забрел в сие пристанище. Отдохну немного и опять лавировать начну между подводными камнями, пока не потерплю полного крушения...

— Тоже, значит, моряк? — перебивая меня, спрашивает Гришаток.

— Да еще какой! Целых семь лет пробыл во флоте. Весь просолел. Сто лет пролежу в земле — не сгнию.

Трофимов пытливо оглядывает меня. Затем, точно следователь, начинает расспрашивать, где плавал, какие обязанности исполнял. Отвечая на его расспросы, я пускаю в ход морскую терминологию.

— Вот теперь вижу, что и ты из смоленых, — говорит наконец он, широко улыбаясь. — И поэтому пожалуйте к нашему столу: вместе

разделим трапезу...

Выпиваем по стакану водки.

Вижу, что ребята ко мне расположены. Недолго думая, начинаю расспрашивать их, можно ли им перевозить пассажиров.

Трофимов сразу догадался, к чему веду я этот разговор.

— Вот что, брат, как тебя звать-то? — спрашивает он, понижая голос и вглядываясь в меня.

— Когда-то величали Дмитричем.

— Ну, так слушай, Митрич: ты это верно сказал, что тебя ожидает крушение?

— Конечно.

Он осторожно озирается кругом и спрашивает меня уже шепотом:

— Скажи, слышь, откровенно: дело серьезное?

— Вздернут, — кратко отвечаю я.

Лицо Трофимова выдает волнение. Руки беспокойно ерзают по столу. Он смотрит уже сочувственно. Гришаток бледнеет.

— Хочешь поехать по-темному? — снова спрашивает меня Трофимов.

Я не понимаю его.

— То есть без билета. Куда-нибудь в темноту забиться и ехать. Вот что это значит. Понял?

— Понял.

— Ладно.

Я чувствую, как через черную тучу отчаяния врывается в душу мою светлый луч надежды, приводя меня в самое восторженное состояние. Я едва сдерживаюсь, чтобы не броситься им на шею.

— А сколько это стоит?

— Да что с тебя взять-то? Купи для ребят бутылку горлодерки, штук пять селедок на закуску да дай им еще трешницу, коли найдется, и дело в шляпе. Часам к восьми выгребай на корабль.

Я с радостью соглашаюсь.

— Только бы Ершов, часом, не узнал, — предупреждает Гришаток.

Что такое? Неужели хочет расстроить уже налаженное дело? Нет, слышу возражение другого:

— Брось, дружище, толковать-то. Такого осла да не надуть? Он сегодня гуляет, вернется на корабль к одиннадцати, не раньше.

Я справляюсь, что за Ершов.

— Да угольщик наш, — поясняет мне Трофимов. — Подводила естественная. Третье ухо капитанское. И капитан наш тоже — ух, зловредный! Акула! Попадешься ему — не жди пощады! Слопает, анафема. Погубить человека для него одно наслаждение. Бывали случаи. Но ты все-таки не опасайся. Сумеем спрятать.

Мы поговорили еще о том, о сем, и кочегары, объяснив мне, как добраться до парохода, покинули

трактир.

А через полчаса и я последовал за ними.

## II

На дворе, несмотря на апрель месяц, стоит пронизывающий холод. Дует сильный ветер. Тоскливо гудят телеграфные провода. Небо темнеет; тяжелое и неприветливое, оно все ниже и ниже нависает над землей. Всклопоченные тучи, клубясь, быстро несутся неведь куда.

День гаснет. Серым и угрюмым сумраком надвигающейся ночи окутывается город. Каменные здания, как будто чего-то пугаясь, съеживаются и плотнее прижимаются друг к другу. Кругом почти ни души — пустынно и мертво. Только кое-где одинокие городовые, вобрав головы в плечи, торчат на своих постах сонливо и неподвижно.

Но я полон бодрости.

Закупив для кочегаров подарки, я не иду, а лечу вперед, не чуя под собой земли. Стараюсь выбирать узкие и глухие переулки. Водку держу снаружи — смотри, на! Смеюсь в душе над своими преследователями: «Ищите в поле ветра!»

Прохожу мимо большой площади.

Невольно в памяти воскресают картины недавнего прошлого. Три года тому назад я стоял на этом месте. Десятки тысяч людей собрались здесь.



Гордо развевались знамена. А оттуда, со середины площади, с опрокинутой бочки, служившей трибуной ораторам, слышались вдохновенные речи. Толпа горела. Грянули песню, свободную и могучую. Из надорванных грудей, из недр измученных и разбитых сердец, веками ее хранивших, вырвалась она и захлестнула всю площадь.

И что же? Куда мы пришли? Что осталось от прошлого?

Но прочь уныние! Иду дальше, снова окрыленный надеждами.

Вот и гавань. Не больше двух недель открылась навигация. Местами еще виднеются льдины. Вдоль каменной набережной вытянулся ряд пароходов и барж. На некоторых яркие фонари. Мачты бросают на воду длинные тени. Кипит судовая работа. Люди, согбенные под тяжестью грузов, бегают в разных направлениях. Воздух оглашается криком грузчиков, грохотом лебедек, паровыми свистками, ударами дерева и звоном железа.

Быстро нахожу нужный мне пароход. Пришвартованный к стене, он густо дымит. Видать, что уже пожил на свете, побородил океаны. Как только может еще справляться с бурей?

На нем тоже идет погрузка.

Жандарм! Но он смотрит на воду, туда, где два

яличника из-за чего-то грызутся между собой.

Я уже на палубе. Направляюсь в носовое отделение, где помещается судовая команда. Открываю дверь.

— Пожалуйте, — приветствует меня Трофимов. — Все свои люди.

Выложив принесенные припасы и деньги на стол, я знакомлюсь с кочегарами. Их четверо, ребята все симпатичные.

— А я, признаться, побаивался, как бы тебя дорогой не застопорили, смеется Трофимов.

— Где уж тут застопорить! Я так пары развел, что десятиузловым ходом летел.

Через минуту мы уже все сидим за большим деревянным столом. Настроение у кочегаров веселое. Выпивая, они дружелюбно угощают и меня. На радостях я выпиваю две рюмки водки и, чувствуя себя голодным, с большим аппетитом уничтожаю целую селедку. Все болтают, шутят.

Входит еще один кочегар, длинный, как верстовой столб, с острыми плечами и впалую грудью. Лицо хмурое. О чем-то таинственно переговаривается с Трофимовым и другими.

— Сколько дает? — спрашивает кто-то.

— Восемь целковых.

Трофимов, переговорив еще кое о чем с ним, обращается за советом уже ко всем:

— Вот, братцы, еще один хлопец хочет ехать

по-темному. С Петровым уговорился. Молодой парень. Можно, что ли?

— Да уж все равно: семь бед — один ответ, — раздается чей-то голос.

— Вот и я так же думаю. Следует взять. Да и Митричу вдвоем будет веселее.

Порешили, что новый пассажир должен прийти позднее, так как сначала нужно запрятать одного.

Водка выпита, закуска съедена. Кочегары расходятся по своим делам, наказав мне сидеть безвыходно в их помещении, пока меня не позовут.

Ждать долго не пришлось. Скоро вернулся ко мне Трофимов.

— Теперь пора.

Он мигом переделал меня в грязное платье кочегаров и грязной штаниной натер мне лицо. Потом поднес маленький осколок зеркала.

— Смотри, как я тебя под масть с нами подогнал.

Действительно, я совсем преобразился.

— Шагом марш! — смеясь, командует он мне.

Выходим на верхнюю палубу. Последний раз я оглядываюсь кругом.

На небе ни звездочки. В темной дали ничего не видно, кроме сверкающих огней. В снастях воет ветер, предвещающая бурю. Вода в гавани волнуется, шумит, будто сердится на то, что ее огородили

кругом гранитными камнями, лишив свободы и простора. Сверху падает крупа, с яростью щелкает о палубу и больно, как иглами, колет лицо. Народу в гавани стало меньше. На некоторых кораблях уже прекратилась погрузка, но на нашем корабле все еще продолжают работать, набивая его объемистое чрево разными товарами.

— Не отставай, — наказывает мне Трофимов.

Спускаемся по трапу в самую преисподнюю. На момент остановились в узком коридоре, чтобы посмотреть, нет ли в кочегарке людей, не посвященных в наше дело. Здесь жарко. Мерцая, тускло горят масляные лампочки; на паровых котлах виднеются циферблаты манометров. Валяются молотки, ломы, железные кадки и другие принадлежности «духов». Несколько человек кочегаров несут свою вахту. Среди них и Гришаток, который, изгибаясь, «шурует» в топке. Кто-то, вооружившись лопатой, складывает в кучу шлак.

Пройдя еще несколько шагов, мы останавливаемся между котлами. Под нами железная настилка. Трофимов, нагнувшись, поднимает одну из плит. Между дном и настилкой небольшое пространство.

— Полезай туда, — говорит он мне, показывая в темную дыру. — После, может, переведем в другое место.

Пока я спускаюсь, кочегары смеются:

— Попалась, грешная душа!

— Ненадолго — за меня сорок сороков нищих молятся, — отшучиваюсь я.

Плита захлопнулась. Тьма кромешная. Подо мной какая-то котловина. На дне грязная масляная вода. Пространства вверх так мало, что я не могу даже прямо сидеть. Нужно устраиваться в лежачем положении. Ощупываю стенки. Они влажные и холодные. Пахнет сыростью и ржавчиной.

Но я не унываю. Чем дальше я уйду от грозящей опасности, тем все больше и больше просыпается во мне жажда жизни, и я готов переносить какие угодно лишения.

Лежу и размышляю о том, как иногда человек может зависеть от разных случайностей. Не зайти я в трактир или даже не сядь за тем столиком, — что было бы со мною дальше? А теперь я наполовину спасен.

Потом вспоминаю о своем логовище, и мне становится смешно...

«Ах, ты, разрушитель старых устоев и творец новой жизни! Куда, однако, тебя занесло!..»

Открывается плита. В дыру влезает человеческая фигура. Раздается голос Трофимова:

— Это твой компаньон, Митрич. Не разговаривайте, а то услышат.

— Хорошо, — отвечает за меня мой попутчик тонким, совсем юношеским голосом.

Молчим. Друг друга не видим.

Спустя минут десять снова открывается плита. На этот раз в отверстие просовывается только рука, держащая какой-то узел. Опять слышен голос Трофимова:

— Держи, Митрич. Это тебе и Ваську говядина, хлеб и вода в жестянке. Пока до свидания. Завтра увидимся. Мы навалим на вас тонны три угля безопаснее будет. Ну, с богом!

— Спасибо, дружище, — успел вымолвить я, и плита захлопнулась.

Все, что принес нам кочегар, я осторожно ставлю в сторону, боясь, чтобы не опрокинуть воду.

Захотелось покурить, а кстати и осмотреть при свете наше жилище и товарища по бегству, но я, как на грех, забыл спички у кочегара. И у Васька нет спичек, да он и не курит. Мысленно ругаю себя за свою оплошность.

Чтобы скоротать время, решаю соснуть. Ложусь на спину, заложив под голову руки. Ноги кладу в воду: иначе нельзя устроиться.

Над нами проходят люди, стуча каблуками о настилку. Слышен говор кочегаров. Мысли становятся смутными, расплывчатыми, и я крепко засыпаю...

### Ш

Просыпаюсь. Кругом непроглядная тьма. Над головой что-то грохочет, как будто жесткие комья глины падают на гробовую крышку. Забыв, где нахожусь, я вообразил себя в могиле, заживо погребенным. По телу пробегает холод ужаса.

Пытаюсь вскочить, но чуть не до потери сознания ударяюсь головой о железо. Я бросаюсь в сторону, снова получаю удар и падаю на товарища.

— Дмитрич! Что с вами? — называя по имени, говорит он испуганным голосом.

Сразу вспоминаю, зачем я попал сюда. Становится понятным и грохот: это кочегары насыпают на настилку уголь.

Придя в себя, я мало-помалу успокаиваюсь. Скоро все стихло.

— Вы так напугали меня: нас могли бы услышать, — тихо шепчет Васек.

— Простите, — так же тихо отвечаю я, стараясь устроиться поудобнее.

Что-то теплое и липкое струится мне за ворот рубахи. Ощупываю голову. На ней рана, на лбу тоже ссадина и шишка. Только после этого начинаю чувствовать боль от ушибов.

Платье на мне мокрое. Воды заметно прибавилось.

Хочу пить — нахожу жестянку, но она опрокинута.

Делать нечего, надо терпеть.

— Вы куда едете? — слышится шепот Васька.

— В Лондон. А вы?

— Я тоже.

Немного погода снова задает мне вопрос:

— Разве большие дела за вами, что бежите в такую даль?

Я не отвечаю. Мне вдруг приходит в голову, что это шпион.

Между тем Васек не перестает спрашивать.

— Молчите! — с негодованием шепчу я.

Замолк...

Но в то же время я начинаю беспокоиться: почему он спрашивает меня о таких вещах, когда нам сказано не разговаривать? Да, тут что-то не так. И чем больше думаю, тем более увеличивается моя подозрительность. Я уже не сомневаюсь, что со мной сидит предатель.

«Задущу!» — решаю я про себя.

Судя по голосу, он должен быть не из сильных. С таким справиться мне ничего не стоит.

Передвигаюсь на то место, против которого должна, по моему расчету, открываться плита. Руки мои дрожат. Пальцы судорожно корчатся. Пусть только вздумает приблизиться к выходу! Схватчу за горло и сдавлю так, что не успеет пикнуть! А там пусть что будет...

Но он лежит неслышно, как будто нет его.

Тихо. Сверху доносятся едва уловимые звуки



колокола. Это бьют склянки. По семи ударам заключаю — либо 3 1/2, либо 7 1/2 часов утра.

Над самой головой слышен разговор:

— Где это ты, Ершов, вчера прогулял так долго?

— Да известно где. Затворниц навестил, — отвечает он охотно гнусавым голосом. — Запеканку пил. А мамзель-то какая! Чернявая! Так и обожгла!.. Да и то надо сказать: ведь в рублевый затесался...

Смакуя каждое слово, он подробно рассказывает о своих похождениях.

Кто-то закатисто хохочет.

Но Трофимов с ненавистью обрушивается на Ершова:

— Совесть твоя стала чернявая, как угольная яма!

— Да за что же ты, Павел Артемыч, так на меня? — лебезит он перед Трофимовым. — Сам ты рассуди: вреда я никому не делаю. А ежели какое удовольствие имею, так на это я трачу из своего собственного кармана. Видит бог — не вру...

— Знаю я тебя. Бога-то хоть не упоминай. За полтинник в любое время его продашь...

Кочегары продолжают разговаривать, но мысли мои снова возвращаются к соседу. Откуда он узнал, кто я такой? Неужели кто из кочегаров предал меня? Ничего не могу понять. Чувствую

лишь одно: что я задыхаюсь от злобы и что лицо мое наливается кровью. Сердце стучит беспорядочно. Каждый мускул мой напрягается. Полный решимости, я жду только случая, чтобы наброситься на своего врага.

«А что, если он сильнее меня? — мелькнуло вдруг у меня в голове. Ведь я уже не такой, как прежде: изломался, ослабел».

Уверенность в победе исчезает, но тут я вспоминаю, что в кармане у меня большой складной нож. Вынимаю его, раскладываю и держу в правой руке. Нет и тени страха. О последствиях не думаю. Мозг мой работает исключительно над тем, как лучше нанести удар.

«Ну, подойди теперь ко мне, гнусная тварь, подойди! — мысленно злорадствую я. — Как всажу нож в твое подлое мясо! Только кровь брызнет... Больше уж никого не поймаешь...»

Безмолвствует.

Опять бьют склянки, и звонкий голос выкрикивает:

— Бросай, ребята, идем завтракать!

Ясно, что восемь часов утра. Скоро должны отвалить от берега.

Но что же мой предатель? Я занимаю выжидательную позицию.

Начинают разводить пары. Котлы зашипели и запыхтели. Послышался однообразный гул

машины. Пароход вздрогнул, качнулся раз-два, и мы тронулись в путь.

Слава богу, Васек не предатель. Ведь ему нет никакого смысла ждать дольше. Я облегченно вздыхаю.

И тут же спохватываюсь... Ах, безумный я, безумный! Как я мог раздуть свои дурацкие предположения! Ведь я мог бы совершить самое безрассудное преступление. Стоило Ваську немного приблизиться ко мне или даже пошевелиться — и все было бы кончено... Меня бросает в жар. Стыд и угрызения совести разрывают сердце. Нет, я положительно ненормален.

С досады бросаю нож в сторону.

До обеда время проходит незаметно. Но затем наступают часы скучные, полные томительного ожидания. На новое место нас не переводят.

Пароход начинает раскачиваться. Мы, вероятно, выходим в открытое море.

Наше мрачное логовище наполняется водой. Она заливает ноги и часть спины.

Холодно.

Страшно хочется пить. Во рту пересохло, какая-то горечь. Я проклиная селедку, которую с таким аппетитом ел накануне.

Васек все молчит.

Мне хочется загладить свою вину. Пробую с

ним заговорить, но из-за шума котлов не слышно. Подползаю ближе и, ощутив его, располагаюсь так, что наши головы соприкасаются.

— Товарищ, вы не спите? — спрашиваю я.

— Нет.

— Как чувствуете себя?

— Плохо. Совсем замерзаю.

— Я тоже.

— Неужели будем все время здесь?

— Обещали перевести.

Хочется еще поговорить, но сознаю, что это небезопасно. Ограничиваюсь еще одним вопросом:

— Раньше вы плавали на корабле?

— Никогда.

Молчим.

#### IV

Должен быть уже вечер.

Качка ужасная. Наверху ревет буря страстно и напряженно. Чудовищными голосами воют вентиляторы. Волны, вскипая, с яростным гневом бьются о железо бортов. Пароход бросает, как щепку. Временами, взобравшись на высоту, он опрорхнет бросается вниз, точно в пропасть. Но тут же снова взбирается вверх. Трещит, как будто беснующаяся стихия ломает его остов. Над головой, гремя о плиты, перекатываются с одного места на

другое куски угля и другие неприкрепленные предметы.

Мы сидим с Васьком рядом, подавленные и ошеломленные происходящим. Нет ничего хуже, как переносить бурю, сидя на дне судна да еще взаперти. Наверху она просто грозна, здесь ужасна даже для привычного моряка. Там в случае крушения корабля все-таки можно остаться живым. Здесь чувствуешь близость разверзающейся могилы.

Вода упорно наполняет наше логовище.

Теперь она доходит до груди.

Мы мокнем в ней, как селедки, брошенные в бочку с соленым раствором. Тела наши сморщились. От стужи дрожим, как в лихорадке, неистово щелкая зубами.

Лечь на спину — значит захлебнуться в воде; сесть прямо — мешает настилка. Приходится устраиваться, изогнувшись и постоянно опираясь рукой о дно. Это становится через некоторое время невыносимым.

Васек изнемогает. Я чувствую на своей шее его холодные дрожащие руки. Из груди вырывается бессильный стон:

— Не могу... Сил нет... Сейчас упаду...

Я боюсь, что он и в самом деле может упасть и захлебнуться, поддерживаю его за плечи. Они узки, как у десятилетнего.

Меня тревожит мысль: откуда проникает вода? Мне известно, что при продувании котлов и тушении шлака вода всегда выливается на настилку и стекает вместе с грязью в трюм. Но она не должна быть такой холодной. Кроме того, в таких случаях пускают в ход помпы. Нет, тут что-то не то: либо корабль, треснув, дает течь, либо другое.

Проходит еще некоторое время. Сколько — не знаем. Вероятно, несколько часов. Они показались нам вечностью.

Беспокойство растет.

— Что это значит? — прижимаясь ртом к моему уху, спрашивает Васек.

— Не знаю...

— Закричим...

— А если Ершов услышит?

— Боже мой, мы погибли...

В голосе Васька звучит смертельная тревога. Сам он, пугаясь, плотнее прижимается ко мне. А когда корабль, срываясь с водяного гребня, с треском падает вниз, Васек бьется в моих руках, крутит головой, задевая меня по лицу. Слышно иногда, как над самым ухом неприятно лязгают его зубы. Раз от разу он все слабеет, опускается вниз, становится тяжелее. Мои руки настолько устали, что я едва могу поддерживать его.

А волны еще сильнее, еще яростнее начинают обрушиваться на корабль. Сражаясь с ними, он

падает, поднимается, мечется в разные стороны, как обезумевшее от ран животное. Мне, как моряку, понятны эти убийственные взмывы волн, этот лязг железной громады, дрожащей и стонущей в буйных объятиях стихии. Вот слышится вопль ржавого железа — корабль гнется. Я чувствую этот момент положения корабля на вершинах двух гребней, когда под серединой его рычит разверстая бездна. Ветхие корабли с тяжелым грузом в таких случаях не выдерживают собственной тяжести, разламываются, сразу проваливаясь в темную клокочущую пропасть. Но наш пока еще выносит. А то вдруг раздастся громкая и неровная трескотня: тра-та-та-та... Это силою моря подброшена вверх корма. Винты оголились, вертятся в воздухе, и машина, работая впустую, кричит о своей беспомощности. Иногда корабль содрогается всем своим корпусом. Кажется, он всецело попал во власть всемогущей бури и его схватывают судороги. И тогда над нами усиливается грохот, шипенье, вой. По плитам что-то ерзает, стучит, скачет, словно тысячи бесов, собравшись вместе, совершают свою безумную пляску...

Вдруг недалеко от нас что-то громко ударилось о железо. Должно быть, сорвался какой-нибудь тяжелый груз. Но нам показалось, что начинается ломка корабля. Мы оба рванулись...

Почему нас не переводят? Неужели погибнем?

Не слышно ни одного человеческого голоса. Все заглушено грохотом и ревом бури...

Вода прибывает.

Чувствую себя, как во льду. Холод проникает в самые кости. Члены окоченели. Кровь стынет. Нет воздуха. Задыхаемся. При каждом крене судна, при каждом ударе в борт морской зыби грязная вода, плескаясь, обдаёт наши лица. Во рту чувствуется что-то масляное, горько-соленое, отвратительное...

Васек начинает рыдать. Бедняга! Какие невыразимые муки должен переживать он, если я, моряк, виды видавший, не раз переживавший грозные капризы океанов, трепещу от страха...

Дольше терпеть нет возможности. Каждая минута стала невыносимой пыткой.

Закричать? Попадешься, погибнешь. Мало того, подведешь кочегаров. Ведь недаром они нас не освобождают. Вероятно, кто-нибудь мешает. Предстоит выбрать, как умереть лучше: от руки палача или задохнуться в этой норе?..

Стучу кулаком в плиты. Напрасно! Нужно бить молотом, чтобы меня слышали. Есть еще одна надежда: приподнять настилку. И я с радостью хватаюсь за эту мысль. Бросаю Васька. Чувствую, как он беспомощно барахтается в воде. Но мне не до жалости. Я уперся спиной в настилку. Грудь от натуги готова лопнуть. Глаза вылезают из орбит. Не поддается! Я забыл, что на настилке навален уголь.



То, что должно нас спасти, стало для нас гибелью. Быть может, его немного, но достаточно для того, чтобы держать нас, как в могиле.

Все кончено... Мы в западне, бронированной железом. Приговор судьбы совершился: обоим смерть! Через несколько минут должна начаться казнь: вместо эшафота — проклятая дыра; вместо стражи — железо; вместо палача вода.

Холодная дрожь пробегает по телу...

Нет, так нельзя. Попытаюсь еще раз приподнять настилку. Если не удастся, то закричу. Надо только передвинуться на другое место, над которым, быть может, меньше угля.

Бросаюсь в сторону. Сталкиваюсь с Васьком. Издавая нечеловеческий визг, он крепко впивается руками в мою шею, как будто хочет задушить меня. Я отталкиваю его от себя. Либо мои внутренности оборвутся, либо мы будем спасены! И меня охватывает безумное отчаяние, Напрягся...

А там, за пределами нашей гробницы, миллионами незримых пастей рычит и грохочет ураган, точно издеваясь над моим бессилием...

Вдруг в моем сознании возникает новая страшная мысль... Боже мой, ведь несомненно, что крик Васька должны услышать. Тем не менее нас не освобождают. Неужели я ошибся, считая кочегаров за товарищей? Неужели мы жертвы неслыханного

варварства? Через несколько минут мы будем трупами...

Все это проносится у меня в голове в одно мгновение, как мрачный шквал, обескураживающий и не дающий опомниться.

Но в этот момент на корабль рухнула какая-то тяжесть, точно свалилась каменная гора. Все затрещало. Он быстро и сильно накренился на один борт, точно намереваясь опрокинуться вверх килем. Я упал и, захлебываясь в воде, куда-то покатился...

С неумолимой и жестокой ясностью представляется весь ужас катастрофы. Все существо мое пронизывает такая боль, точно с меня, еще живого, сдирают кожу. Из груди вырывается вопль отчаяния. Это момент, когда люди сразу седеют...

Я рванулся вверх со всей силой, но, ударившись головой о плиту, беспомощно падаю на дно. Оглушенный, я несколько мгновений кружусь на одном месте, глотая воду. Но тут меня снова охватывает приступ бешенства. Непроизвольно взмахивая руками, задеваю за что-то и срываю с них кожу. В глазах сверкают кроваво-огненные круги. Мне уже кажется, что я не в трюме, а в проглотившей меня беспросветной бездне. Может быть, корабль опускается на дно. Каждый раз, как только я хочу закричать, в рот с силой врывается какая-то масса, разрывает на части горло. Тяжело...

Задыхаюсь...

## V

Я чувствую, как двое подхватывают меня под руки и куда-то волокут. Сам не могу сдвинуться с места. Перед глазами плывут бесконечно разнообразные цветные круги.

— Этот жив! — кричит кто-то, нагибаясь к моему лицу. — Смотрит... Рот разинул...

— Ну?

— Гляди...

Тут же около меня раздается знакомый басистый голос:

— А где же другой? Тащи сюда...

Меня поворачивают, мнут спину.

Чувствую внутри дергающие движения, точно при невероятной икоте; разжимаются челюсти; все тело напрягается — начинается рвота. Желудок, освобождаясь от проглоченной соленой и грязной воды, готов, кажется, вывернуться наизнанку. Скоро становится легче. Дышу свободнее.

Слышу радостные возгласы, открываю глаза. Со мной начинают заговаривать сразу несколько человек. Суетятся, шепчутся. Беспokoйно куда-то всматриваются.

Я начинаю понимать окружающее. Это меня успокаивает. В бессилии закрываю глаза. Хочется

уснуть...

Куда-то поднимают. Несколько человек торопливо выкрикивают:

— Держи крепче!

— Ладно!

— Подхватывай!

Тело скользит по горячей стенке. Потом кладут на железо и исчезают. Я в новом месте.

Оглядываюсь кругом. Слабо горит лампочка, прикрепленная к стенке. Нахожусь в каком-то четырехугольнике, со всех сторон огороженном железными стенами. Со середины, заполняя собой большую часть помещения, поднимается вверх что-то круглое. Ощупываю рукой: горячее. Это дымовая труба. Сверху также переплетаются между собой паровые трубы, точно огромные змеи, уходя своими концами сквозь железные перегородки. Еще выше начинается палуба. Всюду виднеется толстый слой черной пыли. Тепло. Все это дает мне возможность догадываться, что я попал на кочегарный кожух. Подо мной, стало быть, расположены котлы, а ниже — топки.

Израненную голову разъедает осадок соленой воды, причиняя нестерпимую боль.

Вспоминаю происшедшее с нами там, внизу...

Где же Васек? Что с ним? Жив ли он? Как раз в этот момент Трофимов, Петров и еще один кочегар приносят его на кожух и кладут рядом со

мной. Он лежит без чувств. Только на шее слегка колеблются вздутые вены, свидетельствуя, что в нем еще теплится жизнь.

Кочегары, глядя на него, стоят на одном месте, запыхавшиеся, потные, с вытянутыми лицами.

Я приподнимаюсь на локоть.

— Отошел, Митрич! — заметив мое движение, радостно восклицает Трофимов. — Ну, слава богу. Ух, как мы перепугались! Прости уж, невзначай вышло. После объясню. — И, повернувшись от меня, обращается к своим товарищам: — Ну, ребята, давайте Васька откачивать.

— Нельзя: тесно больно, — возражает ему Петров. — Да и не скоро так оживишь. По-моему, лучше за ноги встряхнуть. Говорят, в таком разе самое лучшее средство. Живо вода выльется.

— А ежели коленкой на живот надавить? — предлагает третий.

— Очумел, что ли? — горячится Трофимов. — Так моментально пузырь лопнет.

— Ну, скажет тоже! Пузырь-то где? Чай, ниже. А я говорю, повыше надавить. У нас в деревне...

— У вас коровы на крышах пасутся, дурная твоя башка! — слышится нервный выкрик Трофимова. — Молчал бы уж, коли бог умом

обидел. Орясина!

В конце концов останавливаются на мысли Петрова. Один из кочегаров, отойдя к выходу из кожуха, караулит, чтобы кто-нибудь не застал врасплох, а остальные двое подхватывают Васька за ноги и начинают его встряхивать. Голова его болтается. Хотя он и не тяжелый, но вследствие качки корабля кочегары, постоянно балансируя, едва его удерживают. Кажется, вот-вот упадут вместе с ним и окончательно его доконают.

Васек как будто начинает вздрагивать, и наконец изо рта легкою струей показывается вода.

— Довольно, а то как бы внутренности не попортить, — заявляет Трофимов.

Кладут Васька на железо. Теперь он уже сам освобождается от воды. Ворочается, стонет. На лице страшная гримаса. Когда рвота стихает, Трофимов глубоко засовывает ему в рот палец, снова таким образом возбуждая в нем тошноту. И тогда тело Васька, делая невероятные потуги, извивается, как червь, которому наступили на голову.

Кочегары наконец уходят, высказав свою уверенность, что теперь будет хорошо.

Я все больше начинаю отходить. Оживает и Васек. Но нас обоих все еще продолжает прохватывать дрожь, несмотря на то, что находимся в таком теплом месте.

— Где это я? — опомнившись, спрашивает меня Васек.

Мое объяснение окончательно приводит его в себя. Он удивляется:

— Ах, боже мой... Так вот что случилось...

Слышны глухие громовые раскаты бури, но последняя здесь уже не производит того ужасающего впечатления, какое мы испытывали, находясь в трюме.

Креном корабля повернуло Васька на спину. Он несколько минут остается лежать на одном месте. Свет лампочки, падая прямо на него, дает мне возможность разглядеть его как следует.

Васек... Да, именно еще Васек! Совсем юноша, на вид не больше семнадцати лет. Роста маленького, тощий и тонкий. Лицо привлекательное, с правильными чертами, с высоким и умным лбом, но измученное и печальное. В больших и доверчивых глазах отражается усталость; но они еще смотрят так мечтательно, как будто перед нами не железная, покрытая копотью стена, а лазурная, заманчивая даль.

Глядя на него, я удивляюсь, как это он мог отважиться на поездку «по-темному». И зачем? Что он, хрупкий и слабый, будет делать на далекой чужбине?

— Вы не переделались? — спрашиваю я,

заметив на нем хороший костюм.

— Предлагали, но я не согласился.

Петров принес нам холодной воды в коробке из-под консервов, хлеб и в какой-то черепице тушеное мясо с картофелем. Но сам с нами не остался, говоря:

— Больно некогда. У нас там целая полундра: воду из трюма выкачиваем. После зайду.

Предлагаю своему попутчику закусить.

В то время как я ем с аппетитом, он проглотил несколько кусочков мяса с картофелем и от всего отказался.

— Не хочу, — печально заявляет он. — Я совсем нездоров.

Приходит Трофимов. Чувствуя себя виноватым, он говорит робко и нерешительно. Однако из его слов ясно, что кочегары тут ни при чем. Произошла непредвиденная случайность: в одной из труб, проходящих в трюме, выбило фланец; она дала сильную течь; помпа же, выкачивающая воду, засорилась в клапанах и работала почти вхолостую.

— А нам и невдомек было это, — объясняет дальше Трофимов. — А посмотреть вас раньше нельзя было, потому что Ершов на вахте стоял. Через час должен был смениться. Вдруг слышим визг. Что, думаем, такое? Схватили лопатки и давай сбрасывать уголь с настилки. Глядь, а на ней уж



вода показалась! Это когда пароход-то шибко накренило. Так все и ахнули. Думали, капут вам обоим. Хорошо, что Ершов в это время как раз был в угольной яме... Ничего не слышал. А то бы совсем беда...

— Вам бы сразу посадить нас куда-нибудь в другое место, — укоряю я.

— Да ведь, чудак ты этакий, — опасно! Могли бы найти. И то перед отходом приходил человек. Очень подозрительный. И все шушукался с Ершовым. Шпион, не иначе.

Справляюсь у него, сколько времени мы пробыли под настилкой.

— Теперь девятый час утра. Стало быть, больше суток.

Пароход качает по-прежнему.

Трофимов смотрит на Васька, который все время лежит молча.

— Ну, как, малец, здоровье твое?

— Тошнит...

— Без привычки, значит...

На лице кочегара появляется озабоченность.

— Куда же все-таки посадить-то вас? Было у нас одно место очень подходящее. Но оказывается, что туда нельзя. А еще, хоть тресни, ничего не могу придумать.

— А почему не остаться нам здесь? — спрашиваю я.

— Жарко больно. Поди, градусов пятьдесят, а то и больше будет. Не выдержать, пожалуй, вам.

Действительно, чувствовалась жара. Но для нас, только что начавших согреваться, она казалась сносной; мне, например, новое место, в сравнении с трюмом, показалось прямо-таки раем, поэтому я просил Трофимова пока о нас не беспокоиться.

Васек начинает страдать морской болезнью, мучительной и терзающей. Он весь корчится, то сгибаясь в кольцо, то выпрямляясь во весь свой маленький рост. Несколько раз вскакивает на колени и снова падает на железо. Чтобы заглушить неестественные звуки, вырывающиеся из его груди, он руками плотно закрывает свой рот. Кажется, будто кто-то вырывает из него внутренности.

Трофимов, увидев муки Васька, достал где-то лимон, а для меня принес табаку. Пробыв еще немного с нами, пока Ваську не стало лучше, он потушил огонь в лампочке, наказал нам не разговаривать и ушел.

Утомленные, мы наконец заснули.

## VI

На кочегарном кожухе мы пробыли целые сутки. Насколько нам показалось хорошо здесь с первого раза, настолько же стало плохо потом. Новое наше логовище превратилось в дьявольское

пекло. Мрак, невыносимая жара, горячее железо — все это действовало на нас убийственно, ослабляя и тело и душу.

Видя муки Васька, на которого качка действовала одуряюще, я также начинаю лишаться стойкости моряка и испытываю довольно остро морскую болезнь. Мозг точно размяк от жары.

Кочегары приносят нам пищу, но мы к ней не прикасаемся. Нет аппетита... Сухость в горле. Мучительная жажда. Но стоит лишь немного выпить воды, как сейчас же желудок выбрасывает ее обратно.

— Сколько времени мы в пути? — уныло спрашивает Васек.

— Двое суток.

— А сколько осталось?

— Суток пять.

Васек с горечью заявляет:

— Нет, не выдержу я... Больно... В груди больно...

И, откинувшись от меня в сторону, начинает метаться на железе. Напрасно я стараюсь его успокоить. Он не отвечает мне. Только слышны заглушенные стоны.

Железо становится горячее, как будто кто нарочно его раскаливает. Разостлали полученный от кочегаров брезент. Это несколько облегчает муки. Кочегары часто приносят нам холодную

воду. Обливаясь, мы чувствуем себя бодрее. Но спустя несколько минут становится хуже. Мокрое платье, согреваясь, прилипает к телу и больно щиплет. Чтобы развлечься, начинаю заговаривать с Васьком.

— Кто-нибудь есть у вас в Лондоне?

— Да, хороший друг.

— Давно там?

— Прошлой осенью уехал... Он так же переправился, как и мы... Только ему было лучше... Как он писал...

Васек замолкает, не имея сил продолжать разговор.

Мне тоже становится невмоготу. Слабость чувствуется во всем организме. Наступает какое-то умопомрачение.

Несколько раз навещает нас Трофимов. Видимо, он болеет душой за нас. Наши страдания удручают его. Он тщетно старается придумать что-либо и уходит, ругаясь в пространство. Наконец, что-то смекнув, решительно заявляет:

— Придется переправить вас в угольную яму. Иначе ничего не поделаешь. Есть запасная яма с углем. В ней, может, и не наткнется на вас Ершов. Ну, а ежели уж попадетесь ему...

Он остановился и так громко заскрежетал зубами, точно старался раскусить железо. И закончил голосом, дрожащим от злобы и

выражающим непоколебимость человека, пошедшего напролом:

— У-у-у, стерва! Раздавим, как муху! Нет, не так... В топке сожжем и пепел по морям развеем. Я сам это сделаю! В случае чего, так прямо и скажу ему об этом! Не робь, друзья!..

Против перевода в угольную яму мы уже не протестуем. У нас одно лишь желание: вырваться скорее из этого пекла.

Но не успел Трофимов исчезнуть, как заявляется к нам другой кочегар. Оказывается, в котле номер четыре произошла какая-то порча, при исправлении присутствует механик, и, пока не уйдет, переправлять нас рискованно.

— И сидите здесь тише, — уходя, наказывает нам кочегар.

Нам пришлось остаться на кожухе еще довольно долго — вероятно, часов пять или шесть. Время точно остановилось. Силы покидают нас. Мы не можем уже встать на ноги, не можем даже сидеть. И без того плохой воздух еще больше испортился. Мы дышим часто, разинув рот, как рыбы, выброшенные на сухой песок. Воды нет. А между тем жажда одолевает. Раскаленный воздух жжет нас, пробирается внутрь, сушит легкие. Мы не можем не сознавать, что задохнемся.

С Васьком творится что-то необыкновенное. Он вертится и опрокидывается на железе, как вьюн

на раскаленной сковородке, то плача, то издавая протяжные и хриплые стоны. Раза два я зажигал спичку и пробовал его успокоить, но потом стал совершенно о нем забывать.

В ушах у меня шумит. Какая-то тяжесть давит душу. Сильно клонит ко сну, но я каждые пять минут просыпаюсь, ворочаюсь, подставляя раскаленному железу другую сторону своего тела. Я не могу спрятать голову. От жары она точно разламывается на части. И чем дальше, тем становится все хуже и хуже. Рассудок омрачается. Возникают обрывки каких-то воспоминаний. Их сменяют страшные видения, созданные больным воображением.

Мне кажется, что я в какой-то норе. Надо мной большая гора. Темно. Тесно. Зачем я попал сюда? Не знаю... Ищу выхода... Ползу на животе. Дальше и дальше. Прополз целую версту или больше, выбиваюсь из сил, а света божьего все еще не видно... Ух как жарко, как душно! Назад... Застрял... Не могу сдвинуться с места. Хочу кричать. Язык не шевелится. Голос глохнет в подземелье... Неужели конец?..

Какой-то толчок меня возвращает к действительности, но я еще долго не могу прийти в себя. Тревожно бьется сердце. На лбу капли пота.

Кто-то бьет меня по лицу и ругается:

— Нахал вы! Уйдите! Не дам вам показания!

По голосу узнаю, что это Васек.

— За что вы?

— Негодяй.

Голова его беспомощно падает мне на колени. Тело становится неподвижным.

Изумленный, я некоторое время раздумываю над случившимся.

По-прежнему качается пароход. Слышно, как что-то шумит, грохочет, гудит, ухает.

Обессилив, я падаю на бок. И минуту-две спустя опять какой-то туман, черный и непроницаемый, заволакивает мой рассудок. И снова мне представляются кошмарные видения... Лежу на берегу моря. По мутной и волнующейся поверхности воды, извиваясь, приближается ко мне что-то длинное. Оно вырастает в бесформенную массу... Что такое? На меня, разинув пасть, смотрит морское чудовище! Боже, оно меня проглатывает! Я попадаю в желудок. Меня удивляет, что его стенки горячи и тверды, как железо. Я задыхаюсь...

## VII

Очнулся я уже в угольной яме.

Около меня стоит фонарь, мерцающий огонь которого еле пробивается сквозь грязные стекла. Кругом полумрак. Тихо колеблются тени. Качки

почти не заметно. Где-то далеко-далеко однообразно гудит машина. В горле у меня сухо до боли.

Трофимов, склонившись, смачивает холодной водой мою голову. В ней все еще что-то шумит. Страшно ломит виски.

— Ах, Митрич, Митрич, беда нам с вами, — увидев, что я открыл глаза, взволнованно говорит Трофимов.

Я вопросительно смотрю на него.

— Второй уж раз это происходит с вами, — продолжает он. — Сюда вас обоих принесли на руках. Ну, прямо сказать, замертво! Вот уже целый час, кажись, бьемся, чтобы оживить вас.

Он подносит мне кружку холодной воды. Продолжая лежать, я с жадностью выпиваю ее. Вода меня освежает.

— А как Васек? — спрашиваю я о своем спутнике.

— Совсем швах! Да... Вот он лежит, посмотри. Хоть бы тебе шевельнулся!

Хочу взглянуть. Приподнимаюсь. Но от острой, щемящей боли во всем правом боку сваливаюсь на прежнее место. Из груди невольно вырывается стон. Что такое? Боже мой!.. У меня страшные ожоги на боку и лице! Одна щека моя вздулась.

Трофимов смотрит на меня глазами, полными



печали и тревоги, тихо приговаривая:

— Коли не повезет, то уж ничего не поделаешь. Какая, право, досада!

Сделав невероятное усилие, я приближаюсь к Ваську. Всматриваюсь в лицо. Грязное и осунувшееся, оно кажется безжизненным. Глаза плотно закрыты, а из полуоткрытого рта сверкают красивые, белые зубы. Прощупываю пульс. Он еще бьется, хотя очень слабо.

— Сейчас принесут воды, — сообщает мне Трофимов. — Мы его хорошенько обмочим. Может, и отойдет...

Вскоре приходит Петров, держа в руке большое железное ведро.

Лицо и голову Васька несколько раз обливают холодной водой. Треплют его, ворочают с боку на бок. Ничего не помогает. Васек лежит пластом, как мертвец.

Хлопочут долго, склоняя потные, усталые лица; прислушиваются, встряхивают, ощупывают.

— Надо грудь ему смочить, — предлагает наконец Петров.

Никто ему не отвечает. Он нагибается над Васьком, развязывает ему галстук, расстегивает жилет и рубашку...

Вдруг Петров отскакивает, точно отброшенный невидимой силой. Быстро выпрямляется и смотрит на нас с недоумением и

испугом, растопырив большие грязные руки.

— Что с вами? — спрашиваю я.

— Да не знаю, право... Не того... Вот те раз!..

Как же это!..

И Петров со странной торопливостью оправляет свою засаленную куртку, которая в хлопотах расстегнулась и обилась.

Трофимов берет фонарь в руки и подносит его ближе к Ваську.

Удивлению нашему нет пределов. Мы не верим своим глазам, не верим тому, что это действительность, а не сон.

Слабый свет фонаря освещает обнаженную девичью грудь. Молчим, растерянно глядя друг на друга.

— Женщина! — как вздох, произносит Трофимов и беспомощно опускает фонарь на уголь.

— Да! — вторит ему Петров, точно освобождаясь от какой-то тяжести.

Мы приходим в себя.

Я советую застегнуть ей грудь, прежде чем она проснется. Кочегары соглашаются.

Но не успел один из них приступить к делу, как она проснулась. Смотрит странно, блуждая глазами. По-видимому, никак не может понять, где находится.

Огонь горит слабо. Остолбеневшие кочегары, почти упираясь своими головами в верхнюю

палубу, стоят безмолвно. В полумраке они кажутся несуразными. На их лицах, покрытых сажею и сливающимися с темнотою, сверкают белки глаз. А тут еще я стою на коленях, опираясь руками на уголь, с изуродованным до неузнаваемости лицом. Она ежится, не то собираясь закричать, не то просить пощады. В томительной тишине проходят несколько мгновений. Она приходит в сознание. С большими усилиями приподнимает голову, замечает свою обнаженную грудь и падает, разражаясь истерическими рыданиями.

Кочегары безнадежно смотрят на меня, не зная, что им предпринять. По моему знаку они исчезают из угольной ямы.

Снова темно. Женщина продолжает плакать. Слушать ее невыносимо тяжело. Начинаю утешать. Но прошло довольно много времени, пока она овладела собой.

— Вы хотели меня опозорить? — с каким-то отчаянием спрашивает она меня.

— Ничего подобного, — отвечаю я и рассказываю ей, как все произошло.

— Боже, как я испугалась! — восклицает она, продолжая все еще всхлипывать.

Пою ее холодной водой. Понемногу она успокаивается.

Осведомляюсь о ее здоровье. Жалуется, что плохо. Сильный жар. В груди хрипит, мешая

дышать. Кроме того, у нее сильный ожог на руке.

Качка совсем прекратилась. Пароход идет плавно, почти незаметно, слегка лишь вздрагивая. А немного времени спустя до нас доносится грохот якорной цепи. Затем наступает тишина.

— Кажется, остановились? — спрашивает меня спутница.

— Несомненно.

— Может быть, мы уже в Лондон пришли?

— Весьма возможно, — отвечаю я, не имея еще действительного представления о времени, проведенном на кожухе.

Такое предположение нас обоих невыразимо радует.

Женщина готова уже смеяться. Голос ее крепнет, хоть с трудом, но она уже может разговаривать. По-видимому, силы ее возвращаются. Этому способствует и умеренная температура в нашем помещении.

Мне тоже становится лучше, особенно после того, как я поел немного хлеба, оставленного нам кочегарами.

— Как мне теперь называть вас?

— Наташей, — охотно отвечает она.

Не успел я намекнуть о своем удивлении, что встретил ее в таком месте и в мужском костюме, как она сама пустилась в объяснения.

— Я не сомневаюсь, что вы товарищ, —

начала она дружеским тоном. Поэтому в нескольких словах расскажу вам все откровенно... Видите ли, вместе с другими я оказала сопротивление... Произошла свалка. С той и с другой были убитые. В тюрьму попала. В одиночке долго просидела... До суда. Грозили отправить к праотцам... Тяжело было, невыносимо тяжело... Изболелась душой. До того дело дошло, что хотела покончить с собой... Потом задумала бежать. Симулировала сумасшествие. Долго не верили, испытывали, морили карцером. Но я упорно стояла на своем... Временами казалось, что я действительно лишалась рассудка. Наконец перевели в больницу. План удался... Подождите... Ох, как мне тяжело говорить... В груди что-то мешает... Задыхаюсь...

Она немного отдохнула.

— Так вот я и очутилась на воле. Но я не знала, куда мне деться — ни денег, ни надежных знакомых... Что, думаю, делать? Наконец нахожу одну знакомую, на которую можно положиться. Женщина бедная и с детьми. Приютилась у нее... Место очень опасное, того и гляди, что опять схватят... Остригла волосы. Одеда мужской костюм. Совсем превратилась в парня-подростка. Через неделю добыли кое-какой паспортешко... Так я в продолжение трех месяцев и провела у своей знакомой... За это время списалась с Егором.

Он в Лондоне живет. Я не говорила вам о нем?

— Это ваш друг, к которому вы едете?

— Да, да... Просит переправиться в Англию.

Но денег прислать не может: сам голодает. Потянуло меня туда... Приятельница достала немного для меня денег. На дорогу, однако, не хватает. Решила ехать «по-темному». Тем более, что на мне мужской костюм... В жизни мне всего приходилось переживать... Судьба не гладила меня по головке. Поэтому такой путь не страшил меня... А приключения и риск я люблю. Такова уж натура. Да и не представляла я, что так ужасно будет... Как-то я... Опять что-то душит меня... Как-то...

Голос Наташи вдруг оборвался. Кашляет тяжело, долго. Потом точно чем-то захлебывается.

— Зажгите огонь... — едва произносит она.

Я зажег спичку и ужаснулся: у нее горлом идет кровь...

В продолжение нескольких минут Наташа вздрагивает, хрипит, но затем как-то сразу лишается чувств и вытягивается почти без признаков жизни...

Я сижу возле, не знаю, чем помочь ей. Измученный, я сам вскоре падаю на уголь. Меня охватывает какое-то оцепенение. Я обо всем забываю... И вдруг вскакиваю как ужаленный: за руку укусила крыса. Целое нашествие. Вся наша пища съедена. Привлеченные, вероятно, запахом

крови, они прыгают через нас. То и дело слышится пискотня, дергающая нервы. Так и кажется, что вот-вот, стоит лишь перестать шевелиться, и голодные крысы dokonчат наше существование.

## VIII

Кочегар Петров, приносивший нам пищу, сообщил, что мы заходили в Киль, где простояли часа три, и пошли дальше.

Следовательно, мы должны пробыть в пути еще четверо суток, прежде чем доберемся до Лондона.

Наша временная радость сменяется унылым разочарованием.

Пароход, раскачиваясь, дает знать, что мы снова в открытом море. Буря усиливается. Слышен глухой рокот моря.

Темно. Опасаясь, как бы не заметил нас угольщик, я лишь в редких случаях зажигаю спичку.

Во время стоянки я немного отдохнул. Но с Наташей стало хуже. Все время лежит на голых углях. От еды отказывается.

— Жжет, — жалуется она. — Ужасная мука!  
В груди точно расплавленный свинец.

Я беру ее голову и кладу себе на колени.

Она с горечью продолжает:

— Эх, товарищ, досадно... Погибаю в этой проклятой яме. Хотелось бы лучше умереть... С пользой...

— Не падайте духом, — утешаю я. — Как-нибудь доберемся до Лондона.

— О, если бы так... Как я была бы счастлива!.. А Егор как обрадовался бы. Но не выдержать мне...

— У вас есть родители?

— Да, отец... Мать умерла, когда узнала, что ее сына расстреляли... Не вынесла горя... Сразу свалилась... А отец в несколько месяцев состарился... согнулся... Один он теперь... Я не могу ему помочь...

Наташа заплакала.

Я прекратил расспросы и задумался.

Все это тяжелое и безотрадное было знакомо мне.

Буря, постепенно усиливаясь, доходит до наивысшей степени напряжения. Мощный рев доносится до нас сквозь железо. Чувствуется, как там, за бортом, происходит титаническая борьба стихийных сил. Глухие удары по бортам корабля следуют один за другим, и это продолжается без конца. Падая то на один борт, то на другой, он приходит в трепет, точно живое существо. Порой на мгновение останавливается, словно раздумывая, потом, вдруг рванувшись, несется вперед бешено и



порывисто.

Сначала я кое-как держался, стараясь поддерживать и Наташу. Но долго мы не можем сопротивляться качке. При сильных толчках мы опрокидываемся, перекатываемся с одного места на другое, ударяемся о железные борта. Уголь, как говорят кочегары, «гуляет». Большие куски его катятся за нами, то осыпая нас мусором, то прощупывая тело острыми углами. Ни минуты отдыха. Боль нестерпимая. В особенности, когда ударишься об уголь обожженным боком.

Чувствую, что с каждой минутой Наташа угасает. Начинает впадать в беспамятство. Бредит:

— Не толкай меня... Мне больно. Да, да...

Этот план не годится... Нас переловят...

Сознание к ней возвращается все реже и реже.

Однажды в такие минуты я спрашиваю ее:

— Плохо, Наташа?

— Скорее бы конец... Бог мой!.. О, проклятие!..

Трофимов принес нам свой матрац. Пробую уложить на него больную, но она каждую секунду скатывается с матраца.

Проходят сутки. Может, больше. Буря не прекращается. По словам кочегаров, волны перекатываются через верхнюю палубу, сорвана одна шлюпка; опасаются аварии...

Наташа, как-то придя в себя, кричит с болью:

— Не хочу, не хочу!.. Мне страшно...  
Вынесите меня наверх...

— Но ведь там вы попадетесь капитану... Он выдаст...

Она снова начинает бредить.

Подкатываемся к борту. Лежим некоторое время рядом на одном месте. Вдруг она бросается мне на грудь. Руки ее обвиваются вокруг моей шеи. Чувствуется ее горячее, порывистое дыхание.

— Милый, милый Егор... — шепчет она, целуя мое лицо.

Больные, неестественные ласки чужой умирающей женщины среди жуткого мрака приютившей нас ямы, при зловещих звуках завывающей стихии, наполнили все мое существо тяжелым ледящим ужасом. Я стараюсь освободиться от объятий. Но она не отпускает и плотнее прижимается ко мне.

— Дорогой мой!

Но тут на помощь мне приходит буря, рванувшая корабль с такой силой, что я мгновенно оказываюсь у противоположного борта, и острый кусок угля больно впивается в мою обожженную щеку.

В последний раз возвращается к Наташе сознание. Сквозь сон слышу ее слабый голос:

— Товарищ... Дмитрич...

Я спохватился:

— Что?

— Умираю, — говорит она, как бы примирившись со своей участью.

Торопливо, дрожащими руками, я зажигаю спичку и смотрю на Наташу.

Лицо израненное, покрытое угольной пылью, жалкое. В глазах слезы. Смотрит печально, с глубокой безнадежностью.

— В портмоне у меня... адрес... Скажите... Егору... я... я ехала... Ох, не могу...

Стонет. Делает последние усилия, чтобы досказать:

— Все... объясните... Пусть... будет...

Она не договорила.

Я бросился к ней...

Напрасно! Она уже в агонии. Смерть вступает в свои права — властная, неумолимая, жестокая... Глубокий вздох... Еще раз... И все кончено. Я держу в руках труп...

Я отползаю в сторону. Лежу на угле, закрыв руками лицо...

Наступает килевая качка. Это буря переменяла свой фронт. Она терзает корабль с таким остервенением, что кажется, будто чьи-то гигантские руки, схватив его за мачты, встряхивают в воздухе, как игрушку. Я перекатываюсь с одного места на другое. По-прежнему колотит меня уголь. Израненное тело ноет от боли. Никто не приходит.

Слабею. Чувствую, что и мне не избежать гибели...

Что такое? Как будто кто-то наваливается на меня? Ощупываю... Наташа! Но ведь она мертвая! Животный, безрассудный страх наполняет мою душу, и, забыв все, я кричу:

— Помогите!.. Помогите!..

Кто-то тормозит меня за плечо и говорит:

— Митрич! Да будет тебе орать-то!..

Открываю глаза. Передо мной с фонарем Трофимов.

— Что с тобой?

— Покойница... гоняется, — отвечаю я, продолжая еще дрожать.

— Неужто умерла?

— Умерла!

Он осматривает труп Наташи.

— Ну, дела! — говорит Трофимов упавшим голосом, сядясь около покойницы. — Не выдержала! Такая молоденькая, слабенькая...

На глазах у него слезы. Задумывается, понутив голову.

— Ну, наварили каши, надо расхлебывать... — так же внезапно, вставая на ноги, говорит Трофимов, и лицо становится сурово-спокойным. — Так-то брат! — прибавляет он, глядя на меня, точно я ему возражаю. — Еще этот дьявол угольщик наткнется... Тут тогда, боже мой, что будет! Уголовщина...

Взяв труп на руки, он относит его к задней железной переборке, где на скорую руку зарывает в уголь.

Что было со мной дальше? Помнится только, как поочередно дежурили около меня кочегары, поддерживая мое разбитое тело на матраце и не позволяя мне «гулять» по яме вместе с углем.

## IX

Буря стихла. Без шума и толчков несется пароход, слегка лишь покачиваемый мертвой морской зыбью.

Но зато теперь начинается действие крыс. Снова во мраке слышатся их пискотня и возня. Они приступают к своей работе, маленькие и жадные, и время от времени нападают на меня. В угольной яме я один. Едва обороняясь от крыс, я лежу на матраце — больной, разбитый. Не могу заснуть ни на одну минуту. Голова отказывается думать. Время тянется медленно.

Кочегары, узнав о смерти Наташи, сильно испугались. Их мучит совесть... Почему, они вряд ли понимают, но, видимо, ясно сознают, что загублена молодая жизнь ни за что ни про что. В этом они до некоторой степени и себя считают виновными; а еще больше, кажется, мучит их в случае чего... вопрос ответственности. Труп

продолжает лежать вторые сутки. Никак не могут улучшить удобного момента, чтобы от него избавиться. Предполагали сжечь его в кочегарной топке, но никто не осмеливается взяться за это дело первым. Незнание и опасность напрягают нервы и не дают им покоя.

О моем положении больше всех беспокоится Трофимов. Он приходит ко мне, как только представляется возможность.

— Боюсь, как бы и ты еще не умер, — тревожится он за меня.

— Нет, теперь я выдержу, — успокаиваю его я, сам не веря своим словам.

— Так-то оно так. Видать, что крепкого сложения. А все же после такого случая как-то боязно.

Однажды, беседуя со мной, он засиделся у меня долго, рассказывая о своей морской жизни. С ним я чувствую себя гораздо легче, хотя и с большими усилиями поддерживаю разговор.

— На многих кораблях приходилось плавать? — спрашиваю я у него.

— Хватит с меня: семь штук сменил.

— Достаточно, поди, нагляделись, как люди едут «по-темному»?

— Известное дело. С каждым кораблем по несколько человек отправляются. Когда с матросами уговорятся, а когда и самовольно

забираются на корабль. Иной спрячется в трюм али еще куда — и сидит себе. Хорошо еще, коли пищи да питья припасет. А как без ничего поедет? Ведь несколько суток голодает.

— Всегда сходит благополучно?

— Всяко!.. Иной раз хорошо, а иной и, поди, как плохо! Одно только верно: пострадать уж каждому приходится. Случалось, и умирали. Однажды пришли в русский порт, стали товары выгружать, да между тюками и нашли двух покойников. Как тут поймешь, отчего они умерли: может, не ели, а может, укачались морем, а то и еще что другое...

Трофимов закуривает папиросу.

— А то вот еще происшествие. Года четыре прошло, как я плавал на одном корабле. Это был сущий капкан. Как только, бывало, приедем в Россию, так смотришь, и арестовали человека, и все в одном месте: в румпельном отделении. Долго мы ломали голову над этим. А все-таки догадались. Рулевой оказался предатель форменный! Так он, понимаешь ли, из-за границы все людей возил и в России предавал. Проследили мы его. Ну, уж тут и ему солоно пришлось...

— Что же с ним сделали?

— Матросы, коли захотят, сумеют что сделать. Народ-то ведь ко всему привыкший, смелый. Ночью раз вышел он на палубу и стал у

борта. Буря была жесточайшая. Один товарищ мой, машинист, силы непомерной, подошел к нему тихо, схватил за ноги да как ухнет его за борт! Скоро это он — только булькнуло. Тот даже крикнуть не успел. Ох, и дрянь был, рулевой-то...

Замолкнув, Трофимов что-то соображает.

— Теперь, знаешь ли, все больше за границу люди едут, — говорит он дальше задумчиво, как бы рассуждая с самим собой. — А вот допрежь было наоборот: в Россию больше направлялись. Плохие, брат, времена настали. Вразброд народ пошел, всякий только для себя живет. Корысть тоже проснулась. Вот оно и выходит: кто кого сможет, тот того и гложет. Эх, жизнь! Не глядел бы на все...

Трофимов что-то еще рассказывал. Но я, через силу напрягая свое внимание, настолько утомил свою голову, что перестал его понимать. Слышались только баюкающие, мерные звуки голоса, лишённые для меня всякого содержания и смысла...

Я заснул.

Последняя ночь. Завтра будем в Лондоне. Путешествию моему конец. О, скорей бы, скорее! Уголь таскают из моей ямы. Я могу попасться.

После полуночи в угольную яму приходят трое: Трофимов, Петров и Гришатов. Один из них держит в руках веревку, другой брезент. Лица у всех озабоченно-угрюмые. Глаза смотрят



беспокойно.

— Хоронить пришли, — объявляет мне Трофимов.

Кочегары отправляются к трупу.

Желая последний раз взглянуть на покойницу, кое-как и я ковыляю за ними. Шатаюсь, как пьяный.

Трофимов, нагнувшись, с большой силой дергает покойницу за ноги...

Перед нами страшное лицо... Наташа съедена крысами... Все лицо изглодано. Нет ушей, носа, губ. На костях почерневшие обрывки мяса. Зубы оскалены. Остались целыми только глаза, и то без бровей и век. Скосившиеся в сторону, застывшие, с большими белками, отражающими отблеск фонаря, они смотрят так, как будто этот маленький человек, воплотив в себе сатанинскую силу, намеревался совершить самое невероятное злодеяние. Ничего похожего на Наташу...

— Надо действовать! — после тягостного минутного молчания прозвучал властный голос Трофимова. — Времени терять нельзя!

— Я не могу, не могу!.. — кричит Гришаток и, спотыкаясь, падая, пускается бежать из угольной ямы.

Но его вовремя схватывает за шиворот куртки Трофимов. Возня, крик... Гришаток смят под ноги. Одна рука сдавливает горло, другая обрушивается на его голову. Он вырывается, хрипит...

— Подлец! Других хочешь подвести! Убью на месте! — рычит Трофимов в каком-то исступлении.

Скосившиеся глаза покойницы смотрят на эту внезапно вспыхнувшую драку, а на изуродованном лице ее, с оскаленными зубами, будто застыла улыбка злобного и острого наслаждения.

Но тут вмешивается в дело Петров.

— Стой, брат! — кричит он, хватая Трофимова за руки. — Что ты делаешь?..

Трофимов останавливается.

Освобожденный Гришаток, ползая по углю, растерянно бормочет:

— Не уйду... Останусь... За что же это ты...

Все трое возятся над покойницей, и каждый старается не видеть лица ее. Толкаются, мешают друг другу. Торопясь, делают не то, что нужно. Наконец кое-как завертывают в брезент и увязывают веревкой.

Уносят труп из ямы.

Через некоторое время Трофимов возвращается и сообщает:

— Слава богу, похоронили.

— Как?

— Сам, поди, знаешь, как хоронят по-морскому: привязали к мертвецу железный груз, перекрестили и спустили в море. А наверх вытащили покойницу в кадке вместе со шлаком по лебедочной трубе.

Вытирает рукавом потное лицо. Дышит устало. Все еще находится в возбужденном состоянии. Непокойно озирается вокруг.

— Ну, брат, и происшествие! — хмуря брови и качая головой, жалуется он. — Прямо-таки черт знает, что такое...

Немного отдохнув, он берет меня под руки и переводит в другую яму, из которой уголь почти уже весь выбран.

Я остался один.

Тут только я вспомнил об адресе, о котором просила меня Наташа, но уже было поздно... он остался в ее кармане.

## Х

Мне только что сообщили, что мы приближаемся к Лондону и идем по Темзе. Некоторое время спустя я и сам услышал, как пароход наш остановился.

Путешествие мое кончилось.

Остается только благополучно высадиться на берег, и я — в свободной стране! С нетерпением жду, когда позовут меня кочегары. Настроение тревожное. Ведь это тот последний этап, от которого зависит все — спастись или погибнуть.

Часа два тому назад я поел. Это меня подкрепило. Силы как будто просыпаются. Встаю

на ноги. Ничего: ходить могу, хотя с трудом.

Вдали, где выход из ямы, сверкнул огонек.

— Митрич! — зовет меня Трофимов. —  
Скорей иди сюда.

Приближаюсь к нему.

— Нас уже проверили, — запыхавшись, сообщает он мне. — Английский чиновник считал нас. Все хорошо. Теперь корабль осматривают. Контрабанду, значит, ищут. Идем.

— Куда?

— В кочегарку.

Не давая мне опомниться, он почти силой тянет меня за собой. На ходу дает наставления, как держать себя, чего остерегаться, выбрасывая при этом слова так быстро, что едва успеваю улавливать их смысл.

— Поддержись, Митрич! Будь тверд! Главное, не сдрейфи! Не обращай внимания, кто бы ни пришел. Работай себе и — баста! Несколько минут только. И тогда все. Слышишь? Эх, вот кабы подфартило!

Входим в кочегарку. Светло. Жарко. Котлы, вздрагивая, однообразно мурлычат свою никому не понятную песню.

Трофимов, беспокойный и потный, приоткрывает немного дверь топки и дает мне в руки большой лом.

— Это, чтобы в топке шуровать. Жди, я скажу

тебе, когда нужно действовать. За кочегара будешь, понимаешь? А я тем временем начну продувать водомерные стекла. И погляди, как мы их обкрутим. Ну, аллах, выручай!..

Послышался непонятный для меня говор.

— Начинай! — командует мне Трофимов, и раздается пронзительное шипение пущенного им пара.

В этот момент в кочегарку ввалилось несколько человек англичан.

Преодолевая свое бессилие, я нагибаюсь и открываю дверь топки. Яркий свет пламени режет мне глаза. Обдает сильным жаром. Неуклюже тычу ломом в раскаленный добела уголь. В руках у меня такая тяжесть, словно я держу целый железный брус. Обожженный ранее бок как будто кто раздирает когтями. Проходят минуты три-четыре. Силы истощаются. Голова вспухает, точно наливаясь свинцовой тяжестью. Топка кажется огненной пастью. В глазах повернулись все предметы, виски сдавило. Не выдержали ноги, резко и коротко подкосились колени, и я упал. Падение вызвало прилив сознания. Боже мой, ведь эти люди могут заметить, что я чужой. И тогда все надежды, все мечты рухнут безвозвратно. Сейчас арестуют, вернут в Россию...

Я преодолеваю себя. Несколько раз подчеркнуто громко и уверенно повторяю грубое

ругательство. Усевшись, поднимаю одну ногу и внимательно осматриваю сапог... Чувствую, что вплотную надвинувшаяся опасность укрепила мой дух. Я могу спокойно ожидать конца...

— Друг мой! Ведь ушли! — радостно кричит Трофимов и, схвативши за плечи, сильно трясет меня. — Спасен, говорят тебе! Понимаешь? Подавился я угольной ямой, коли вру...

От восторга он своей тяжелой пятерней хватил меня между плеч.

— Э, да ты совсем клячей стал. Ну, ничего, ничего... Пройдет...

Начинаю понимать, что я действительно спасен, и грудь моя наполняется радостью.

Немного погодя отводит меня в угольную яму и сейчас же убегает за моим платьем. Однако вернулся часа через два, держа в одной руке мое платье и лампочку, а в другой — ведро воды.

— Извини, что очень замешкался, — говорит он угрюмо. — Там арестовали одного...

— Где?

— Наверху, в товарном отделении нашли. Под брезентом лежал. Видать, из рабочих какой-то. Лет под тридцать, пожалуй, будет. Строевые матросы захватили его с собой. Эдакие бараны безмозглые: не сумели спрятать как следует. Тьфу...

— Где же теперь?

— В каюте заперт на замок. Где же, ты

думаешь? Акула-то наш во как обрадовался! Как увидал того, так и ощерился. У-у, дьявол! В Россию повезет. Ну, да ладно: посмотрим еще, довезет ли до России-то... А пока, парень, начинай-ка свою физиономию в порядок приводить.

С помощью кочегара я в несколько минут умылся и переоделся.

Трофимов провел меня к себе в помещение и усадил за стол.

— Оглядись немного и отдохни. В случае чего — скажи, что в гости, мол, ко мне пришел, и больше никаких. Из города, стало быть, из Лондона. Это бывает.

Угощает супом. Ем без всякого аппетита, почти с отвращением проглатывая пищу, только затем, чтобы запастись на дорогу силой.

Наконец Трофимов перевязал мне чистой тряпкой обожженную щеку, которая от жары в кочегарке снова разболелась, и сказал:

— Ну, парень, давай-ка помаленьку наматывать на берег.

Выходим на верхнюю палубу и, обходя открытые люки, направляемся к сходне. Я жадно всматриваюсь в окружающую меня новую жизнь.

На ясном бледно-голубом небе ярко пылает солнце. С берега тянет весной, теплой, радостной. Дышу смело и глубоко.

Работа в разгаре. Одни суда нагружаются,

другие разгружаются. Докеры, рослые, сильные, с обветренными лицами, выполняют свой каторжный труд с такой стремительностью, словно они, доживая последние часы, порешили сразу покончить со всеми делами. Наполненные повозки отъезжают прочь, стуча о камни, а вместо них появляются новые. Паровые катера, пересекая гавань, жалобно воют, точно от боли. Грохочут лебедки. Крики людей тонут в общем гуле портового трудового дня. И вдруг вблизи нас, выделяясь из этого хаоса звуков, раздается протяжный, потрясающий рев. Я оглядываюсь. Это шлет свой прощальный привет огромный пароход, отчаливая от берега, взбудораживая зеленую муть воды. Вот они, английские доки. Какой водоворот силы, какая напряженность!

Берег... Английский берег, давший приют стольким беглецам! Я ощущаю его под ногами! Нет, еще не все, надо еще выйти из гавани. Точно волной несет меня вперед. Кажется, что я вырвался из кромешного ада и меня горячо приветствует жизнь, энергичная, шумная и кипучая.

Мелькнули ворота и сонливо сторожащий их полицейский, грозный и жирный, но смирный, как теленок, и мы — на улице города. Пройдя квартала два, мы сворачиваем в узкий переулок.

— Вот когда ты свободен, как птица, — остановившись, ласково говорит мне Трофимов. —



Можешь идти на все четыре стороны.

Вытаскивает что-то из кармана и сует мне.

— Это что? — спрашиваю я.

— Деньги английские. Пригодятся тебе.

Кочегары так порешили...

Не хотелось брать от него деньги, но пришлось уступить его настойчивой просьбе.

— Доложу я тебе, Митрич, одну новость!

Он оглядывается вокруг и откашливается.

Лицо его становится грустным.

— Приходил к нам на корабль человек. Надо думать, из образованных. Все расспрашивал у команды...

— О Наташе? — догадываюсь я.

— Да... «С этим, говорит, кораблем должен приехать мой друг, молодой парень, он мне, говорит, письмо послал перед тем, как сесть на корабль». И показывает нам письмо. Оказывается, что он уже дня три поджидает ее, покойницу-то. Видать, что истосковался совсем. Долго он приставал то к одному матросу, то к другому. Но тут Петров, чтобы отвязаться, взял да и сказал ему: «Приходил, мол, к нам один малыш, уговорился с нами ехать; через час хотели посадить его на корабль, но он куда-то исчез». Переспросил. Петров опять повторил то же самое. Так он, братец ты мой, человек-то этот, ажно весь вздрогнул. Вздохнул только, но не сказал больше ни слова. И пошел. А

как он согнулся-то, Митрич! Точно шесть пудов понес.

Прощаясь, мы крепко обнялись... Я почувствовал у себя на шее могучую, мускулистую руку своего спасителя...

— Может, встретимся когда... Не забывай...

Трофимов, видимо, хотел еще что-то сказать, но от сильного волнения, что ли, как-то растерялся. И, запинаясь, воскликнул только:

— Эх, Митрич! Дай тебе бог счастья!..

— Спасибо тебе, дружище, за все, — ответил я растроганный.

Глаза его вдруг стали влажными. Он последний раз сильным движением тряхнул мою руку и пошел обратно на пароход.

Я посмотрел в его широкую согнутую спину.

Ушел последний человек, знакомый, близкий и понятный мне... А там, впереди... Что там? Какие люди? Какая жизнь?

И я, больной телом, но бодрый духом, двинулся в шумно бурлящий поток лондонской суеты.

## **РАССКАЗ БОЦМАНМАТА**

Да, братцы, вы, можно сказать, только начинаете службу. Много придется вам казенных пайков проглотить. Ох, много... А я последнюю

кампанию плаваю. Через три месяца уж не позовут на вахту: буду дома... Довольно — почти семь лет отдал морю. Это вам не баран начихал. Да...

Ну да ничего — и вам тужить не следует. Служить можно, особенно ежели в заграничное плавание попасть. Полезно. Притом матросская жизнь не то, что у несчастной пехоты. Хоть мало там службы, но какой толк из нее, чему научишься? Рассказывают, как солдат поспорил с матросом: кто образованнее. Начал солдат командовать — направо, налево, шаг вперед, шаг назад и всякую другую пустяковину. Матрос выполнил это в лучшем виде. «Теперь, каша, я тебе скоманую», — говорит матрос. Стал армейский, вытянулся, точно кол проглотил, щеки надул. Матрос, недолго думая, залез на третий этаж и бросил на солдата мешок с песком. «Полундра!» — крикнул солдату. Тому бы надо бежать, а он ни с места. Мешок ему по башке. Чуть жив остался.

Куда им до флотских! А главное — у нас раздолья много. Правда, трудненько иногда бывает: дисциплина, вахту нужно стоять, докучают авралы, буря попугает, и даже очень. Недаром говорится: тот горя не видал, кто на море не бывал. Зато где только не побываешь? И человек другим делается храбрее и смекалистее. Море переродит хоть кого.

Расскажу вам, ребята, как я до теперешней точки понимания дошел. А вы вникайте. Может,

что и пригодится вам. Бывало, в молодости я сам так же вот, как вы теперь, сижу на баке да прислушиваюсь к старым матросам.

С новобранства — ух, как круто приходилось! Обучающий сердитый был. Мурыжит нас — беда! Кормили неважно. Бывало, нальют в бак суп не суп, а разлуку какую-то. А тут еще тоска брала. И во сне-то все деревня виделась. Жалко было отца с матерью. Дряхлые они у меня, в нужде большой. Притом невесту я имел. Настей звали. Эх, девка, доложу я вам! Очень натуральная. На щеках румянец, что маков цвет. Глаза игривые, синие, как тропическое море. Идет, словно капитанская гичка плывет. Улыбкой ослепляет. А когда принарядится да длинную косу алыми лентами украсит — глядишь, не наглядишься. Играл я с нею по всей ночи. Заберешься, бывало, в сарай или еще там куда и милуешься от зари до зари. Да, привязчивая и с огнем девка. Но только я честно с ней обходился, потому что для меня она была дороже всего на свете...

Да, кручинился я здорово. А время шло. И я, чтобы забыться, грамотой занялся. Человек я был темный, ничего, кроме деревни своей, не видал, а грамота и морская жизнь на многое раскрыли глаза...

Кончили мы строевое учение, присягу приняли. Из новобранцев в матросов превратились.

Наступила весна. Тепло. Жаворонки поют. В парках деревья распускаются, трава зеленеет. Воздух свежий, бодрый. Море солнышку улыбается, радуется, что ото льда освободилось. Люди повеселели. В военной гавани суматоха. Одни суда уже в кампании, другие вооружаются. Начинаем и мы вооружать свой трехмачтовый крейсер. Работаем во всю мочь. Через месяц готово дело: корабль на большом рейде стоит, чистенький, на мачте вымпел развевается.

Пошла морская жизнь.

Правду сказать — первое время ходил я на корабле как ошалелый: ничевохоньки не понимаю. Больно названий разных много и все нерусские. Изволь-ка изучить все эти шкимушгары, шкотовые и брам-шкотовые узлы, брам-гинцы, кранцы и муссинги голландской оплетки; потом люверсы, шпрюйты булиней, рифы талей, реванты. Мало того, ты должен понимать компасы, лоты, лаги, сигналы. Должен знать, как поднимать тяжести, как управляться шлюпками под веслами и под парусами. Одно только парусное учение чего стоит. Бывало, инструктор тебе объясняет, а ты, прости господи, стоишь как истукан, едалы раскрывши. Прямо в отчаяние приходил. Думал — никогда-то мне не выучиться всей судовой мудрости. Ночью лежишь в подвешенной койке и все твердишь: косые паруса на крейсерах бывают — бом-кливер,

фор-стенги-стаксель, фор-трисель. А чуть забылся — Настя перед тобой, свеженькая, как земляничка на припеке, улыбается, к себе манит... Однажды представилось, будто она с другим парнем, обнявшись, от хора пошла. С подвешенной, значит, койки упал. Порядочно расшибся. Вы вот смеетесь. Теперь, конечно, и мне смешно. А тогда не до того было. Уж так эти видения сердце расстраивали, что одна мука...

Как-то отправились мы в город за провизией. Четырнадцативесельный баркас дали нам. Туда шли утром, погода хорошая, а к вечеру, когда возвращались, страшная буря поднялась. А может, это только показалось мне. Раньше я не только моря, но и реки-то порядочной не видал... Ветер так и рвет, волны так и хлещут. Море ревет, пенится, обдает брызгами, точно сбесилось. Катер наш подбрасывает, как скорлупу ореховую. Испугался я тут до смерти. На волну взбираться туда-сюда, а как вниз полетишь — все нутро замирает, дух захватывает. Глядишь — катится на тебя стена. Ну, думаешь, тут тебе и могила. Прошла... Не успеешь вздохнуть — другая... Того и гляди, весло вырвет или самого в море швырнет. А квартирмейстер наш, угреватый, синий, рот у него большой, как у лягушки, глазищи зеленые, дикие, сидит себе у руля и хоть бы что... Мы, молодые матросы, молитвы творим, а он чепушится

что ни есть крепкими словами.

— Нажимай хорошенько, трусишки несчастные!..

И как начнет перебирать всех святых, богов, боженят, да все в печенки, в селезенки, в становой хребет, — еще пуще страх тебя берет... Такого не сыскать головотяпа...

Как видите, ростом я небольшой, но силенкой бог не обидел. В груди двадцать два вершка имею. Обозлился я, рванул весло. Оно надвое. Квартирмейстер мне в зубы... Тут я и понимать перестал. Держусь обеими руками за банку, а вокруг пустыня мерещится и по ней будто стадо белых коней скачет...

Море плюется, квартирмейстер тоже.

— На, выкуси!..

А то небу начнет кулаком грозить.

Я сижу ни жив ни мертв.

Вдруг слышу:

— Крюк!

Потом еще:

— Шабаш!

Оглядываюсь — наш крейсер. Слава богу... Только всю ночь потом дрожь пробирала. Проклял я тогда все на свете... Не успел я оправиться от одного приключения, как другое произошло. Начали учить нас по вантам лазить... Корабль под парами полным ходом шел, покачивало порядочно.

Меня на марс послали. Поднимаюсь. Ванты зыблются. У меня руки и ноги трясутся... Чем выше, тем боязнее. Я назад. А боцман — Селедкой команда прозвала его, потому что за пятнадцать лет службы просолел он совсем, — раз-раз меня резиновым линьком. Точно огнем обжигает спину!.. Я даже не заметил, как на марс взобрался. Гляжу вниз — высоко! Качка наверху сильнее. Мурашки по коже забегали... Лег я на площадку, ухватился за что-то руками и замер. Боцман наскакивает на меня, точно зверь лютый, а я ни с места и зуб на зуб не попаду... Прилезли еще четыре квартирмейстера. Насилу оторвали мои руки. На талях спустили на палубу. Осрамился, можно сказать, на весь корабль.

Взяло меня тут горе совсем. Не раз даже плакал. Домой письмо написал — прощайте, мол, не видеть вам больше своего сына. Думал в полет удариться. Да спасибо землячку рулевому, тот меня все успокаивал.

— Подожди, привыкнешь, не то запоешь.

— Нет, — говорю, — моченьки терпеть больше...

— Три к носу — все пройдет...

И верно оказалось. Втянулся и я в судовую жизнь. Все больше в понятие стал входить насчет каждой вещи. Служба пошла веселее. Ко всему любопытство пробудилось. Примерно, громоотвод



взять. Жаль, что сегодня ночь темна — не видать его. А вы, ребята, завтра днем посмотрите на верхушку мачты. Там увидите железный прут. Это и есть громоотвод. Интересная штука, ей-богу! Знаю, что вы боитесь грома. Допрежь и я боялся. Думал — Илья-пророк, осерчавши, стрелы пускает в грешных людей. И только на судне узнал — чепуха все это. Хоть тысячи громов греми, хоть тресни само небо, а корабль все-таки невредим остается, раз на нем такой прибор поставлен. Вот оно что... С этого-то, по совести сказать, я и ударился в разные мысли. Раньше в телесах силы было сколь угодно, а на чердаке ветер дул. А теперь ничего: мозги, что твоя динамо-машина, работают и на всякое происшествие свой свет бросают.

Мало-помалу вошел я в свою роль на корабле. Боязнь исчезла. Сердце окрепло. Даже старший офицер, замечаячи мою перемену, доволен мною оставался. Хлопает по плечу и говорит:

— Вижу, что из тебя лихой матрос выходит. Молодец, Грачев!

— Рад стараться, ваше высокобродье! — отвечаю. И другие молодые матросы похрабрили. Бывало, во время парусного учения старшой выйдет на мостик и гаркнет:

— К вантам! По марсам и салингам!

Бежим по мачтам, как бешеные. Кошкам не угнаться. А тебе опять команда:

— По реям!

Вон как высоко, а ты работаешь, ровно на палубе... Буря, качка — не влияет...

...Подожди, Бук, не лезь. Видишь — я занят; молодятинку просвещаю. Ведь вот пес, а с матросами в большом ладу живет. Мне кажется, он все понимает. Только не может объяснить свои мысли. Матросы начнут веселиться — он тоже зубы скалит, взвизгивает. Смеется форменным образом. А сделай при нем какую-нибудь глупость, сейчас же застыдится, подождет хвост между ног и пойдет прочь. «С остолопом, мол, не хочу дела иметь...» Третью кампанию плавает. С первого раза он тоже порядочно труса праздновал. Бывало, в бурю, как завоюет благим матом! И тошнило его не хуже матроса. А теперь моряк хоть куда... Раз в Либаве он за какой-то сучкой начал увиваться. Отстал от команды. Все вернулись на судно, а его все нет. Так и решили, что пропал наш Бук. А он всю ночь проблудил и утром сам на корабль приплыл...

За свою службу мне два раза пришлось за границей побывать! Дай бог, чтобы каждому из вас такое счастье выпало. Сначала на крейсере ходил, значит, на строевого квартирмейстера занимался. Тогда трудновато было: занятия одолевали. Потом на канонерскую лодку попал. Тут лучше было...

Ох, ребята, хорошо в дальнее плавание уходить! Скитайся по синим морям, любуйся на

разные диковинки, потешай свою душеньку... Побывал я везде: и в Европе, и в Америке, и в Африке, и в Индии. Сколько людей разных видел. Немцы и англичане народ неразговорчивый. А вот французы, итальянцы — это да! Живости в них хоть отбавляй. Если языком не могут, то руками, ногами, головой начнут действовать, а обязательно разговаряются. Выпивают с нашими матросами вместе, песни поют, обмениваются фуражками, фланельками.

Как-то мы стояли в Неаполе. Город грязноватый и бедноты в нем много, но, по-моему, он лучше всех немецких городов. Весь солнцем залит. Кругом веселье: тут смех раздаётся, там музыка играет или песня зазвенит. Беззаботные, право, эти итальянцы, что птицы небесные. Любят порадоваться. А главное — простой народ, дружелюбный. Сбоку города вулкан-гора стоит. С версту, говорят, высоты. Днём дымится, а ночью над ним, как на пожарище, зарево стоит. Одно восхищение. Как увидел я этот вулкан, так и ахнул... Сейчас же к доктору:

— Объясните, мол, ваше высокобродье, отчего это дым из земли идет?

Хороший он у нас был. Доказал он ясно мне, почему внутри земли огненная лава находится и как эта лава иногда наружу выпирает. Даже книжки дал, а из них я и сам все доподлинно узнал об

этом...

Тут же древний город Помпей. Давным-давно, вскоре после рождества Христова, этот вулкан пеплом засыпал его, а теперь итальянцы отрыли. Для науки, значит. Ходил я по нем. Улицы, дома — все как по-настоящему.

Чудеса, ей-богу!

Заходили мы и в Алжир. Интересно. Декабрь на дворе стоял, а мы раздетыми гуляли. Тепло, как летом. Дома высокие, белые, с плоскими крышами. По улицам зеленые деревья рядами тянутся. В садах полно цветов. На финиковых пальмах ягоды кистями висят, созревают. Около ресторанов раскинуты тенты, а под ними публика за столиками сидит, винцом прохлаждается. Больно африканцы любопытны. Есть из них только смуглые, а есть черные, как сажа, губы толстые, вывороченные. И одежда какая-то чудная. Женщины ходят в белых плащах со сборками на спине. Лица закрыты чадрой. Это чтоб чужие мужчины на них не зарились. А перед мужем-то она вся раскрывается, догола. Гляди сколько хошь. Мужчины тоже в плащах, а на головах чалмы...

В Алжире один лейтенант купил обезьяну. Что она проделывала, чтоб ей пусто было! Мы лезем на мачту, и она с нами. Да ведь куда? До самого клотика добиралась. А то кому честь отдаст по-военному, кому язык покажет. И много разных

причуд показывала. Словом, здорово развлекала команду.

Гальванер один сказывал, что люди и обезьяны от одного существа произошли...

— Неужто это правда? — спрашиваю.

— Факт, а не реклама, — отвечает, а объяснить как следует не может.

Я опять к доктору за разъяснением.

— Об этом, — отвечает, — не полагается тебе знать.

— Почему же, ваше высокоблагородье?

— Скучно будет жить на свете...

Долго я его охаживал. И так и сяк к нему подбирался. Купил ему в подарок попугая с клеткой. Птица такая есть, может по-человечески говорить. Не поддается. Только ухмыляется себе в усы, и больше никаких. А я какой человек? Как втемьшится что в башку, так уж тут беда — спокою себе не знаю. Подъехал к одному мичману. Ночью на вахте разговорились с ним и намекнул:

— Обезьяна, мол, животное, а здорово смахивает на человека.

— Ну, и что же? — спрашивает он.

— И смышленная такая... Вроде как сродни людям...

— Дальше?

Что ему тут скажешь? Он строгим сделался, а меня робость взяла. Ответил только:

— Во всем, ваше бродье, сказываются дивные дела господа...

Поглядел он на меня, покачал головою и изрек:

— Глупый ты, Грачев, матрос...

А доктор все-таки уважил меня. Во французском городе стояли мы. Взял меня с собой в музей. А там чучелов разных — уйма! Тут-то он и порассказал мне все. И по его выходит, что не только человек и обезьяна сродни, но и всякая живая тварь, примерно лошадь, змея, собака, червяк, от одной клетки произошли. Так явственно объяснил, что никакого сомнения не осталось. Прямо перевернул все мои понятия...

Побывали мы еще кое-где и месяцев через семь повернули домой, то есть в Кронштадт. Шли то под парами, то под парусами. Команда за это время сдружилась, привыкла к морской жизни, усвоила судовые науки. Паруса ставили в две-три минуты. Только бури нас сильно одолевали. Но нигде так не доставалось нам, как в Бискайском заливе. Волнами чуть мостик не снесло. А в борт било точно таранами. Такая встряска была, что удивляешься, как только живы остались. И то одного матроса с палубы смыло. Погиб парень... Злой этот залив, будь он проклят! Много в нем моряков утонуло.

А командир у нас был бедовый. Первый год

на крейсере плавал. Вот любил команду! Если пища плоха — разнесет весь камбуз. Но уж больно горяч и с виду страшен. Лицо все в волосах, брови торчмя стоят, глаза пронзительные, точно у орла. Чуть кто провинится перед ним, весь кровью зальется, задрожит и как вихрь налетит.

— Убегай!.. Убью!.. — кричит, точно полоумный; схватит с головы матроса фуражку и начнет ее рвать в мелкие кусочки. А через час или два опомнится, призывает матроса к себе в каюту.

— Прости, — говорит, — что я так. Вот тебе за фуражку.

И пару целковых даст.

Сначала матросы очень пугались, а потом привыкли и хорошо с ним задружили. Только есть из нашего брата каналы. Нарочно на его глазах что-нибудь протяпывали, чтоб за фуражку два целковых получить. А ей цена всего двугривенный. Заметил это командир — давай сбавлять награду. Когда согнал до полтины, перестали дурить...

Рассказывали про него, будто раньше, по горячности своей, с матросом что-то сделал... Убил, что ли, или еще что... С тех пор боится, как бы опять грех не получился... Ну и дело хорошо понимал. Выйдет на мостик, покрутит носом по воздуху, посмотрит на море, на небо и сразу скажет, какая будет погода. И храбрость имел. Ему все было нипочем. По ночам будил команду и посылал

наверх паруса крепить. Однажды с койки нас подняли. По расписанию я должен на грот-брам-рее работать. Буря была свирепая. Крейсер шел на фордевинд. Темнота, хоть глаз выколи. Дождь льет. Холодно. Море шумит. Ветер в снастях воет, свистит и, кажется, готов у тебя мясо с костей сорвать. Держись! Чуть зазеваешь — крышка! Костей не соберешь, ежели с такой высоты о палубу треснешься. А в море попадешь — тоже поминай как звали... Но страха ни капельки. Ровно без памяти я стал. Работаю по привычке: руками, ногами, зубами... Ногти заворачиваются... Снастью тебя обогреет по лицу или парусом... Ладно, не до этого... Сердце как в огне горит... И только когда на палубу спустился да очухался — жутко стало...

Эх, всего бывало!..

Пришли в Кронштадт. Экзамены начались. На все вопросы я отбарабанил, как дьячок. Произвели меня б квартирмейстеры. Служба пошла легче. Своей пригожей Насте послал я заграничные гостинцы. Очень обрадовалась и пишет, что ждет не дождется меня.

Кончили кампанию. В экипаж переселились. Доктора от нас списали на другое судно. Жаль было с ним расставаться. Попрощался со мною по-хорошему, дай бог ему здоровья...

...Ну-ка, Мишухин, подай мне фитиль.



Закурю я свою заветную трубочку. В Периме купил. Берегу. Э, дьявол, плохо что-то раскуривается. Табак, видно, отсырел...

Так... Как-то узнал я, братцы, из книжки про микробов. Это маленькие такие животные, может, в сотню раз меньше гниды. Увидать их можно только в микроскоп. Прибор так называется с увеличительным стеклом. И вот захотелось мне в этот самый микроскоп посмотреть своими собственными глазами. Жив, думаю, не буду, а добыюсь своего. Хорошо. Начал я допытываться у понимающих матросов, куда мне обратиться. Долго я старался, пока не наткнулся на рулевого. До службы на штурмана он занимался.

— У студентов, — говорит, — попроси...

— Откуда же, — спрашиваю, — у них микроскоп будет? В нашей деревне, Просяной Поляне, студентом вора прозывали. А он в кармане только гвозди носил для отмыкания замков...

Тут-то рулевой и просветил меня насчет студентов. Ах, черт возьми, да это, оказывается, самые башковитые люди. Ладно... Беру от экипажного командира билет и айда в Питер. Хожу по улицам. Зима. Морозец лицо пощипывает, зажигает румянцем. Народу много. Нет-нет да и встретится студент. Спрашиваю у одного насчет своего дела. Расхохотался только и пошел от меня прочь. Я плюнул ему вслед. К другому обращаюсь.

— Я, — говорит, — историю изучаю и никаких делов с микроскопом не имею...

Досадно мне, а все-таки на своем стою. Попадается еще студентик, маленький, горбатый. По одежде видать — из бедных. Объясняюсь с ним. Ничего — слушает серьезно, расспрашивает. Потом говорит:

— К сожалению, я микроскопа не имею, потому что на юриста занимаюсь. Но у меня есть друг, который на профессора готовится. Он вам покажет.

Слава богу. Дело, думаю, налаживается...

Приходим в квартиру ученого. Комната узкая, длинная. Все полки уставлены какими-то баночками, книгами. На столе, на стульях тоже книги. Некоторые раскрыты. И столько их, что мне не прочесть бы за всю жизнь.

Сам ученый — человек высокий, худущий. Ноги длинные, тонкие, раздвинуты, как циркуль. Голова большая, волосы назад зачесаны, виски с плечами. На носу пенсне в роговой оправе. Одет просто. А что меня больше всего удивило в нем — это лоб. Крутой такой и вершка четыре высоты. Сразу видать — толстодум!

Я даже растерялся, как увидел ученого. Выпрямился, руки по швам держу.

Мой студент рекомендует меня с усмешкой:

— Познакомься — интересный экземпляр...

И рассказал ему, чего я добиваюсь.

— Так вы хотите в микроскоп посмотреть? — спрашивает меня ученый.

— Так точно, ваше высокоблагородье, очень даже желаю, — отвечаю я.

Он покраснел, нахмурился. Что, думаю, такое? Неужто в генеральском чине?

Протер пенсне платочком, поморгал глазами и на меня посмотрел внимательно так. Потом говорит мне ласково:

— Присядьте на стул... Вы напрасно меня так величаете...

— А как же прикажете?

— Просто — Василий Иванович...

Вижу — человек добрый, обходительный. Я посмелел. Поговорили немного. Потом ученый поставил на стол машинку, микроскоп-то этот самый. А когда он все приготовил, я посмотрел в него.

Ах, братцы мои, ну до чего это интересно! Маленькая капелька воды стала с яблоко величиною, а в ней штук пятьдесят микробов. Живые, копошатся. Да вы себе и вообразить-то не можете такую вещь. А Василий Иванович все мне объясняет и другие сорта показывает. Он их сам разводит, микробов-то. Прямо точно колдун какой-то. Есть из них заразные. Попадет к тебе внутрь и сразу уложит в могилу.

Больше часу я любовался.

Кончили мы с микроскопом, полбутылочку водочки втроем разгрызли, закусили сырцем, колбаской и расстались друзьями.

Теперь кажется, будто во сне все это видел.

И какие люди есть на свете! Взять, например, Василия Ивановича. На профессора готовится; студенты башковиты, а он обучать их будет. Это понять нужно. А со мной обошелся так запросто, ровно товарищ. Вот...

Целую зиму провел я в экипаже. В свободное время все книжками увлекался. Хотел достукаться до настоящего понимания жизни. И дело хорошо шло на лад: голова моя пухла, хоть обруч железный нагоняй на нее...

А летом меня списали на канонерскую лодку. Нагрузились мы разными припасами и опять в заграничное плавание махнули. На этот раз еще дальше побывали. В новые места заходили, новые диковинки смотрели. И ко всему у меня любопытство все больше росло...

Бывало, ночью идешь... Темень непроглядная. Кругом ни живой души. Все море, море. Кажется, никого на земле нет, кроме нашего корабля. Даже беспокойство начнет зарождаться. И вдруг где-нибудь далеко-далеко, чуть видно, огонек засветится. Смотришь — оказывается маяк. Мечет в черную пустоту лучи свои, как будто успокаивает:

«Не бойтесь... Курс верный...»

На душе сразу приятно станет.

Иногда утес попадетя, высокий, бурый, весь в трещинах. Внизу волны бьются, окружают его снежной пеной, что-то рассказывают. А он, точно часовой на посту, стоит одинокий среди моря и будто следит за направлением кораблей...

Всю осень наш корабль проканителился в Средиземном море, а к зиме направился в Индийский океан.

Проходили через Суэцкий канал. Удивительный, братцы, этот канал. Тянется он на сто сорок верст и два моря соединяет. Африканский берег зарос скудным кустарником и тростником, а на азиатском ничевохоньки нет. Только видны желтые пески пустыни — далеко-далеко, до края горизонта. Господи, чего только человек не придумает! Ведь нужно же такую махину прорыть.

Вступили в Красное море. Не знаю уж, почему оно так называется. По цвету оно вовсе не красное, а синее, как небо. Это то самое море, через которое Моисей провел израильтян. Говорили мне раньше, будто в нем есть фараоны — голова человечья, а хвост рыбий.

Брехня все это...

Жара все увеличивалась. А когда вошли в Индийский океан и стали к экватору приближаться, терпения от нее не было. Над палубой и мостиком

тенты развешаны. Ходим в одних сетках. Не помогает. Готов кожу с себя содрать. Постоянно окачиваемся морской водой. Свежей пищи нет. Кормят солониной, кислой капустой, сухарями. Пресную воду красным вином разбавляют, а то невозможно пить — теплая, противная. А у кочегаров и машинистов суший ад. Часто замертво вытаскивали их на верхнюю палубу, размякших, как пареная репа...

Зато поглядеть — красиво! Полный штиль, на небе хоть бы одно облачко. Пышет жаром солнце, а океан греется и не дрогнет. Похож на голубое, отшлифованное стекло без конца и края, а на нем будто часть солнца рассыпалась золотыми плитами — сияют, ослепляют глаза. Редко, когда порхнет ветерок, океан поморщится, будто щекотно ему. Иногда, точно наши воробьи, поднимутся над водой летучие рыбки, заблещут серебряной чешуей. В небе пронесется белый альбатрос. Птица это большая, вольная, любит простор. Часто акулы преследуют корабль, а их лоцмана сопровождают, как флаг-офицеры адмирала. Человечьим мясом не брезгают, подлые. Для матроса очень опасная рыба...

Раз поймали мы одну акулу! Сделали машинисты удочку с руку толщиной, насадили на нее в полпуда кусок солонины и бросили за борт, — сразу цапнула дура, не подумавши. Вытаскиваем ее

на ют. Большая — аршин пять длины. Не понравилось ей на корабле — бьется, хочет вырваться, а ее все ломом по башке... Ну, и живучая, идол! Потом топором разрубили — половинки дрыгают. Вытащили сердце — бьется: лежит на палубе и будто дышит.

Даже жутко смотреть...

Подходит сигнальщик.

— Зубы-то, — говорит, — какие острые!..

Привык к казенным глазам — к биноклям да к подзорным трубам, своим не верит. Захотелось пальцами пощупать. Сунул в разинутую пасть руку, а она, акула-то, как тяпнет. На одних жилочках осталась рука. После доктор по локоть отхватил ее. По чистой ушел домой.

Вот еще проказники — дельфины. Любят они корабль сопровождать и разные представления проделывать. Построятся в один ряд, как матросы во фронт, и все сразу, точно по команде, начнут сигать над морем.

«Гляди, мол, нашу гимнастику — не хуже вас можем орудовать...»

Надоест это им — начнут в отдельности всякие фокусы показывать: один вверх животом перевернется и поплывет, другой кувыркнется, третий рыбку вверх подбрасывает. А темной ночью, когда по сторонам корабля они начнут бултыхаться и плескаться, еще того лучше. Вода блестит, будто

сера горит, синие искры рассыпаются. Ну, до того это красиво, что глаз нельзя оторвать.

Люблю я, братцы, темные тропические ночи. Бывало, лежишь на заднем мостике в чем мать родила и смотришь, как заря догорает. Тихо, тепло. Корабль идет ровно, без качки. Команда спит. Все темней становится. Море черное, как деготь. За кормой вода бурлит и светится. Вверху звезды горят, яркие, крупные. По середине неба Млечный Путь, точно река, усыпанная золотом. От движения корабля теплый ветерок тебя обдувает, ласкает любовно, как мать ребенка...

— Господи, как хорошо! — шепчешь, бывало, а по щекам слезы катятся. От восторга, значит... И все в ту пору мило: звезды, земля, море, каждая рыбка, козявка, каждый листик, а больше всего — человек!..

Впереди покажутся отличительные огни, точно два разноцветных глаза, красный и зеленый. Это идет навстречу какое-то паровое судно. Мы обмениваемся с ним курсами. Я от всего сердца говорю ему вслед:

— Попутного ветра...

И так уснешь с добрыми мыслями. Если на вахте не придется стоять, беззаботно спишь до утра, пока не услышишь команду:

— Вставай! Койки вязать!

Смотришь — уже солнышко встает, красное,



свежее, точно в море выкупалось. Мы идем ему навстречу, а оно приветливо сияет, румянит море и наши лица...

Хороши и светлые ночи. Бывает, что луна прямо над головой стоит. Мелкие звезды гаснут, остаются только крупные. Белеют накрытые парусиной шлюпки, блестят медные раструбы вентиляторов. Море залито сиянием и кажется беловатым, точно молоком разбавлено. Далеко видно вокруг... Бывало, стоишь на вахте и раздумываешься. Настя на уме. В шелк ее нарядишь, самоцветными камнями украсишь. Гуляем с нею в тропическом саду. В нем самые красивые деревья. Птицы поют. И куда ни глянь — все цветы, цветы. Солнцем брызжет, светом. В озерах рыба играет. Ласкается Настя, любовные слова говорит... И все как наяву...

Эх, эти тропические ночи! Здорово на воображение действуют!..

Иногда про свою деревню вспомнишь, Просяную Поляну, и станет обидно до слез. В лесу она стоит, сугробами завалена. Темные люди живут в ней, слушают зимнюю вьюгу, бьются в нужде, с нуждой умирают. И никогда им не узнать, как велика земля, кто населяет ее, какие есть моря...

Ну, да об этом не стоит говорить.

Заходили мы на Цейлон. Там получили приказ из Петербурга вернуться обратно в Россию.

Забыл я вам, ребята, сказать: с офицерами нужно держаться умеючи. А то ни за что пропадешь. Не в похвальбу будь сказано, я мог с ними ладить. Им никогда меня не раскусить, а я каждого из них насквозь вижу. У кого какой характер, кто знает морское дело, а кто только языком берет, ничего от меня не скроешь! Появится новый офицер на корабле — я сейчас же приглядываться начинаю к нему. Важно изучить его, чтоб уметь потрафить и не быть грязечерпалкой. Разные из них бывают. Один любит, чтобы на чин выше хватить, когда его величаешь, другой — чтоб обо всем спрашивать у него. Случалось, иной начнет выведывать меня. А я ему столько понакручу, что сам дьявол ногу сломит. И все-таки однажды обмишулился, так обмишулился, что чуть лычки с меня не содрали.

На канонерской лодке был у нас старшим офицером лейтенант Краснов, толстый, короткий, как мортира; усы большие и торчали в стороны, как выстрелы на корабле, глаза водянистые. За чудаковатого считался. Каждого матроса звал Микитой, а матросы прозвали его этим именем. К команде очень свиреп был. А когда подвыпьет порядочно, ходит по кораблю и кричит:

— Я китайский император!..

Со всеми целуется.

— С вами, — говорит, — молодцы, я могу все

нации вдребезги разнести...

Однажды вижу я — в носовом отделении бычачьи рога валяются. Хорошие такие рога, большие, но на корабле они ни к чему. Я их выкинул в море. А оказалось, что старшой отдавал их столяру отделать. Узнал он о моей проделке и семафорит пальцем:

— Эй ты, Микита, поди-ка сюда!..

Подхожу.

— Ты выкинул рога за борт?

— Так точно, ваше высокобродье, потому, как предмет неподходящий...

Перебивает меня сердито:

— Да как ты смел? Ты понимаешь, это мои рога?

А я возьми да и брякни:

— Виноват, ваше высокобродье, я думал, бычачьи.

Он ажно присел, золотые зубы оскаливши. Вставные они у него были. Попало мне порядочно. А главное — взъелся с этих пор на меня, беда как! И все грозился:

— Я тебя, Грачев, проучу!

Несдобровать бы мне, если бы вскорости не застрелился он. Вестовой рассказывал, что жена у него с каким-то богачом спуталась, вот он и лишил себя жизни...

После второго заграничного плавания меня в

боцманматы произвели. Значит, еще легче служба пошла... С тех пор я на этом броненосце плаваю. Каждое лето по четыре месяца в кампании нахожусь, а зиму на берегу провожу.

Ну-ка, кто там, подайте-ка фитиль. Закурю еще разок. Вот...

Одно время про Настю и совсем забыл. Случай такой произошел.

Однажды в праздник пришлось отвезти офицеров на берег. Высадил я их с парового катера на пристань и пошел обратно к своему судну. На большом рейде оно стояло. Я тогда считался старшиной катера. Вижу, солнышко светит, но как-то сразу погода начинает свежеть. С востока черная туча надвигается, полнеба закрывает. Ветер все крепчает, быстро гонит ее на нас. Чайки беспокойно летают, кричат. Быть, думаю, буре. И не ошибся... Не успели мы выйти из гавани, как налетает шквал. Запенилось море. Все вокруг гудит, точно тысячи труб трубят. Кружатся вихри, поднимают воду, дробят ее в брызги. Туча уж над нами. Дымится, будто небо горит. Солнца не видно. Море потемнело. Скачут белые волны, несутся куда-то, давят друг друга... Молния, гром. А ветер все сильнее бушует. Брызнул дождь. Трудно глядеть вперед. До корабля еще версты две остается.

Смотрю: с левого траверза маленький ялик

кувыркается. В корме женщина сидит, под веслами — мужчина. Работает он веслами изо всех сил, а ветер уносит их все дальше в море. Ялик то на дыбы встанет, то нырнет носом между волн. Не может справиться с бурей. Вот-вот катавасия произойдет. Кладу право руля и полным ходом к ялику лечу. Ближе уже. Уменьшаю ход. На барышне лица нет. Вся мокрая, кричит что-то... Вдруг ялик подбросило на гребень волны и перевернуло. Мужик за дно ялика ухватился. Барышню в сторону отбросило. Барахтается она в воде, а волны через голову хлещут. Дрогнуло мое сердце. Кричу носовым матросам:

— Крюк подайте!

А сам катер мимо барышни направляю так, чтобы она с подветренного борта очутилась. Матрос один, вместо того чтобы только подать ей крюк, зацепил ее за плечо. Платье разорвалось, на голом теле царапина видна. Бросаю руль, перегибаюсь через борт и хватать за волосы! Одним мигом выхватил ее из моря... Потом мужика спасли, ялик взяли на буксир и направились обратно к пристани...

Барышня дрожит, плачет, кашляет от соленой воды, не может слова сказать. Мужик скорее очухался. Рассказывает нам:

— Мы, значит, с ей гулять выехали в море, с барышней-то. Все, значит, ладно было. Она аж

песни голосила. А тут этакое приключилось. А што спасли — за это, значит, спасибо. Магарыч поставлю. Только бы получить с ее милости...

— Что, — спрашиваю, — получить?

— Да за провоз. Полтора целковых, значит, выладил... Ну, не довез обратно — верно... Дак разве, значит, я тут виноват?..

Дурашный мужик, жадный!

С пристани барышню отправили на извозчике домой.

Вскоре я медаль получил за спасение, а командир при всей команде меня благодарил. Хоть не заслужил, но отказываться от награды не стоило. Потом от барышни письмо получил. Ловко написано. Просит к ней зайти.

Через две недели познакомился с барышней и с ее семьей.

Приняли они меня, как родного. Барышню Ольгой Петровной величают. Отец ее доктором был, умер. Осталась старая мать да братишка-гимназист лет двенадцати. Живут, по-видимому, не бедно: несколько комнат имеют, рояль, мягкие кресла, на стенах портреты висят...

Невысокая Ольга Петровна, хрупкая, но очень приятная. Блондиночка, на щеках ямочки, глаза серые, веселые. Волосы пушистые, густые. Голосок звонкий, как у перепелки.

После кампании я у них стал частенько

бывать. Бывало, вырвешься из экипажа и прямо к ним. Чаек попиваешь, разговоры интересные слушаешь. Иногда Ольга Петровна на рояле сыграет. Я все с расспросами пристаю по ученой части. Здорово объясняла. Очень образованная... Другой раз я начну заливать ей про наше житье-бытье: что на корабле делаем, как по морям ходим, что видим...

— Ах, Никанор Матвеевич, как это интересно! — восторгается Ольга Петровна и глазами обласкивает.

Все лучше ко мне относится. Мать и братишка тоже со мной дружат. Стал я у них будто свой человек.

И вот ходить бы мне к ним и ходить, да муть с души прочищать... Так нет же! Подставил мне дьявол ногу: влюбился я в эту самую Ольгу Петровну до потери рассудка. Да и как и не влюбиться? Очень обольстительная девица. Глазами, улыбочкой так тебя и привораживает, так и притягивает к себе. Говорить начинает, что ласточка щебечет. Называет меня «голубчиком», «милым». А то рядом сядем, из книжки начинает что-либо объяснять, а сама волосами до моего лица прикасательство имеет. Ну, известное дело, меня всего в жар бросает и перед глазами круги ходят... Иной раз смеется:

— От вас, Никанор Матвеевич, ароматом моря

веет...

— Это, — спрашиваю, — как нужно понимать?

— Да в хорошем смысле, — отвечает.

Словом, по всему выходило, будто и она привержена ко мне. Стал я задумываться: как теперь быть? День-другой не побываешь, не знаешь, куда деться от тоски тоскучей. А повидаешься, только больше в расстройство приходишь. Больно я азартный сердцем... Худеть стал. Лицо из черного в зеленое превратилось. Глаза ввалились. Товарищи узнали, насмежаются:

— Дай-ка, Грачев, ход назад — и баста! С твоей ли рожей, на прожектор похожей, такую барышню прельстить? Это все равно, что выше клотика залезть...

А я чувствую, что не отстать мне от нее. Силушки нет. Точно стальными канатами пришвартовало мое сердце...

Почему бы, думаю, ей не выйти за меня. Разве кто-нибудь может полюбить ее больше меня? Необразованный? Научит. Будут дети — в гимназию отдадим...

Наступили святки. Невтерпеж мне... Хоть ложись да умирай...

Решаю объясниться. А как объясниться, что скажешь? Это тебе не Настя. Ее не возьмешь на бордаж и не прижмешь к плетню. К ней нужно



подойти осторожно, по-ученому...

Прочитал я как-то в романе про любовь одного адвоката. Э, вот как, значит, надо действовать! Ладно. Несколько ночей не спал, все обдумывал, как лучше подойти к Ольге Петровне и какие слова сказать.

На первый день рождества побрился, почистился, в первый срок нарядился. Отправляюсь к ней. Открываю дверь. С праздником поздравляю. Смотрит на меня и удивленно спрашивает:

— Что с вами, Никанор Матвеевич?

— Ничего, Ольга Петровна.

— Вы больны?

— Пока слава богу.

Беспокоится обо мне, какой-то порошок дает, к доктору советует сходить, старается развеселить меня. Ничего не помогает. На душе у меня ад кромешный. Мать с сыном в Питер уехали. Хочу воспользоваться этим случаем и открыться — смелости не хватает. Посидел немного и ушел.

Опять не спал всю ночь. На второй день вроде шального стал. А когда к Ольге Петровне пришел, она даже испугалась.

— У вас, — говорит, — страшные глаза...

С расспросами пристает ко мне, хочет до причины допытаться. Я отнекиваюсь.

— Лучше сыграйте что-нибудь, — упрашиваю ее.

Села за рояль и ударила по клавишам. Зарыдали струны. Жалостливая песня... Без слов я почувствовал, будто про меня она составлена. И тут душу мою такое смятение охватило, что брызнули слезы. Нагнулся я. Ольга Петровна ко мне подходит, кладет руку на плечо и спрашивает участливо:

— Вы, кажется, плачете?

Хочу сказать ей, а в голове ни одной мысли. Забыл все хорошие слова. Только мотаю пустой башкой, ровно лошадь, оводов отгоняючи...

— Что с вами? — пристаёт она. — Говорите же ради бога...

Выпалил я, что первое на язык подвернулось:

— Без вас я, что корабль без компаса... Не могу...

— Я вас не понимаю...

Мне тут нужно бы на одно колено стать и пальчики целовать, как в романе сказано. Может, что и вышло бы... А я, растяпа, облапил ее да в губы...

Вырвалась она от меня и в угол забилась. Бледная, трясется, глаза большие. Руками за голову держится, шепчет:

— Уходите... Я вас любила как спасителя, как родного брата... А вы вот какой...

Понял я все... Екнуло у меня под ложечкой... Взял фуражку в руку, сделал поворот на

шестнадцать румбов и направился к экипажу. Иду по улице, шатаюсь. Медаль «за спасение» к черту бросил... Теперь, думаю, конец мне... И так мне стало тошно, что света божьего не взвидел...

Кто-то схватил меня за плечо.

Поднимаю голову — капитан первого ранга.

Придирается:

— Я тебе кричу — остановись, а ты не слушаешься!..

— Виноват, ваше высокобродье...

— Почему фуражка в руках? Почему честь не отдаешь? Пьяный?

— Так точно, выпил малость...

Вечером я уже в карцере сидел. На пять суток арестовали... Тут видения разные пошли. Что со мной было дальше — не помню. Очнулся я уже в госпитале недели через три. Белой горячкой хворал.

А когда вышел из госпиталя, в отпуск уехал. Опять с Настей любовь закрутил. И всю тоску как рукой сняло. Выходит — чем ушибся, тем и лечись. На этот раз до буквального дошел... Сынишка родился... Но это только на радость... Кончу службу — покрою грех венцом...

Да, вот оно как...

...Ого! Склянки бьют двенадцать. А с четырех нам на вахту. Пора отдохнуть, ребята. После как-нибудь еще поговорим...

## ПОДАРОК

В косых лучах заходящего солнца ярко белеют каменные здания портового города, золотятся прибрежные пески и, уходя в бесконечную даль, горит тихая равнина моря. Чистое, точно старательно вымытое небо ласкает синевой, и только к западу низко над землей тянутся узкие полосы облаков. Горизонт будто раздвинут — так широко вокруг! На рейде, построившись в один ряд, стоит военная эскадра. Над кораблями легкой, прозрачной пеленой висит дым. В гавани — несколько коммерческих пароходов и рыбацких лайб, пришвартованных к бочкам.

Жар спадает, увеличиваются тени. Праздные люди тянутся к морю подышать свежим воздухом.

Около деревянной пристани у небольшого ларька толкуются семеро матросов, одетых в белые форменные рубахи и черные брюки. Это гребцы с шестерки. Заигрывая с бойкой круглолицей торговкой, они покупают у нее булки, пряники и фруктовую воду. Тут же, прислонившись к фонарному столбу, стоит толстый городской, чему-то слегка ухмыляясь.

— Для вас, любезные мои, что угодно уважу... — говорит торговка и, лукаво подмигнув матросам, закатывается смехом.

— Ну! — удивляются матросы.

— Да-с... потому что обожаю...

— Ай да тетка! — восторгается кто-то.

— Эта распалит! — добавляет другой.

Слышится хохот, полный молодого задора.

Старшина шестерки, квартирмейстер Дубов, неповоротливый, как слон, с роскошными глазами на мясистом лице, посмотрев на свои карманные часы, властно отдает распоряжение:

— Пора на корабль!

Матросы идут к пристани неохотно, оборачиваясь и продолжая болтать с торговкой.

— Ну, шебутись! Довольно языки околачивать без толку! — кричит квартирмейстер.

В это время, осторожно неся в руках корзинку, сплетенную из прутьев, подходит к матросам молодая женщина. Тонкая, хрупкая фигура ее красиво обтянута белой кофточкой и черной юбкой. На голове — модная шляпка со страусовыми перьями, но заметно уже поношенная, как поношены изящные туфли на ногах. Из-под темной густой вуали видны пушистые светло-русые локоны, придающие ее бледному, правильно очерченному лицу особую привлекательность. Она взволнована, что видно по ее большим зеленым, как изумруды, глазам.

— Вы с крейсера «Молния»? — спрашивает она у матросов, вглядываясь в надписи на их

фуражках.

— Так точно, — выдвигаясь вперед, отвечает квартирмейстер Дубов.

— Знаете мичмана Петрова?

— Как же не знать, ревизор наш.

— Так это брат мой родной...

Дубов прикладывает правую руку к фуражке, а остальные вытягиваются.

Молодая женщина бросает тревожный взгляд на городского, а тот по-прежнему стоит у фонарного столба, точно прилип к нему, и, забыв о своих обязанностях, задумчиво смотрит в лазоревую даль, откуда, направляясь к гавани, идет неведомый корабль. Потом она говорит:

— Передайте, пожалуйста, ему вот эту корзинку. Только будьте с нею как можно осторожнее: в ней деликатные вещи. Если что случится, брат вас накажет...

Своими манерами, вкрадчивостью и беспокойством она напоминает кошку, собирающуюся на глазах хозяев совершить преступление. Это заметил бы каждый, но не замечают этого матросы, которые смотрят на нее восхищенными глазами, слушают, как сочный ее голос звенит, точно ручей.

— Будьте спокойны, барышня, — говорит Дубов.

А женщина, подавая ему небольшой

запечатанный конверт, добавляет:

— Письмо тоже передайте Петрову.

— Есть!

Женщина торопливо уходит.

Матросы, бережно поставив корзину в корму шестерки, размещаются по банкам и отталкивают лодку от пристани. Руки их обнажены, видны здоровые упругие мускулы. Изгибаясь, гребцы широко и дружно взмахивают веслами, точно сильная птица крыльями. Поскрипывают уключины, лениво всплескивается соленая вода. Шестерка легко скользит по зеркальной равнине, оставляя сзади себя струю с мелкой дрожащей рябью по сторонам. Солнце, спрятавшись за узкое сизое облачко, золотит края его, морская поверхность омрачается тенью, но через несколько минут оно снова показывается и ярко горит, щедро заливая все сиянием. К пристани один за другим мчатся паровые катера, отвозя писарей за вечерней почтой. С ялика, направляющегося в море, слышатся веселые крики и смех разряженных парней и девиц.

Шестерка выходит из гавани в море.

— Эх, и барышня, доложу я вам! — покрутив головой, мечтательно говорит квартирмейстер Дубов, сидя на руле. — Прямо антик с гвоздикой!..

Подумав и взглянув на корзинку, спрашивает как бы самого себя:

— Что же это такое — деликатные, говорит, вещи...

— Деликатные? — переспрашивает один из гребцов.

— Именно.

— Фарфор, не иначе... Разные безделушки — вроде голых баб, собачек. У господина Петрова в каюте полный стол таких штучек...

— Не то, — возражает другой уверенным тоном. — Деликатные, стало быть, деликатес. Пища такая есть. Когда служил вестовым, я сам едал такую. Это из сливок, шоколада, из ликера, других разных разностей делается. Поешь — дня два сладостью рыгаешь. А чуть тряхни — развалится...

— Ну и звонила! — презрительно бросает ему Дубов. — Три года во флоте прослужил, а ума ни капельки не нажил.

Матросы некоторое время спорят, потом вспоминают про торговку. Приближаясь к своему крейсеру, шестерка при круглом повороте ударяется бортом о трап. Из корзинки раздаются какие-то странные звуки. Матросы, вытянув шеи, сидят, полные недоумения.

— Выходи! — перевалившись через фальшборт, кричит на них с крейсера вахтенный начальник.

— Кряхтит что-то, ваше бродье, — растерянно отвечает квартирмейстер Дубов.



— Кто кряхтит, где?

— В корзинке.

— Да что там такое?

— Деликатные вещи.

— Какие?

— Не могу знать... А только будто живое что-то...

— Дурак! Тащи сюда... Посмотрим...

Дубов берет в руки корзинку и, бережно держа ее перед собой, поднимается на палубу. Странные звуки становятся все слышнее. Вахтенный начальник, заинтересовавшись, приказывает открыть скорее корзинку, а молодой штурман, большой шутник, смекнув что-то, бежит в кают-компанию.

— Господа, пожалуйста на шканцы! — объявляет он во всеуслышание. Чудо увидите...

Офицеры, веселые, с шумом и смехом выходят на верхнюю палубу. Из носовой части судна быстро бегут матросы. Обступая корзинку, люди жадно всматриваются в середину круга, где видна лишь согнутая спина матроса. Это Дубов, который, выпрямляясь, поднимает на широких ладонях двух- или трехмесячного ребенка, чуть прикрытого белой пеленкой, громко заявляя:

— Парнишка, ваше бродье!

Ребенок, не открывая глаз, ворочается и что-то хочет поймать беззубым ртом. Среди

офицеров и команды слышны восклицания и сдержанный смех.

— Кто это привез? — протолкавшись на середину круга, сердито спрашивает старший офицер, хмурясь и шевеля большими, с проседью, усами.

— Я, ваше высокобродье! — отчеканивает Дубов, неумело держа ребенка на вытянутых руках.

— Зачем?

— Барышня одна прислала... Господину Петрову... И письмо ему есть...

На несколько секунд воцаряется напряженная тишина. Сотни глаз молча устремляются на мичмана Петрова, который стоит тут же вместе с другими офицерами. Выхоленный, опрятный, в белом, как свежий снег, кителе, гордо держащий голову, с черными, завитыми в колечки усиками на беззаботно улыбающемся лице, он в одно мгновение становится таким бледным, точно из него сразу выпустили всю кровь. Потом на лице его появляется страшная гримаса. Пошатнувшись, он быстро, неровным шагом уходит к себе в каюту, бормоча, точно пьяный:

— Это подлость... Надо полиции заявить... Поймать эту сволочь... Я не виноват...

Ребенок, поморщившись, чихнул раза два и, точно почувствовав всю горечь своего существования, залился вдруг звонким плачем.

— От родного сына отказался! — удивляются матросы и укоризненно качают головами, а другие весело смеются.

— Слава богу — команды прибыло!

Офицеры стоят молча, переглядываясь и чувствуя себя неловко.

Вахтенный начальник, разогнав матросов, обращается к старшему офицеру:

— Что ж теперь делать с ребенком?

— Я сам не знаю, — пожимая плечами, отвечает тот. — Это дело командира. Пойду доложу ему.

Он уходит.

Багровея, все ниже опускается огромное солнце. Загораются узкие полосы облаков. Город, окрестности его с зелеными рощами, берега, необозримое море — все тонет в пурпуре. Воздух не шелохнется. Вокруг разлита торжественная тишина, нарушаемая лишь плачем ребенка.

Молодые офицеры перешептываются.

— Я знаю эту особу, — сообщает один из них, тонкий, остроносый, с длинной, как у гуся, шеей. — Удивительная прелесть! Правда, кажется, не очень интеллигентная, но зато — какие ножки, какой ротик! Одно очарование!

Старший, возвратившись на шканцы, передает вахтенному начальнику распоряжение командира отправить ребенка в полицию.

— Уа-а... уа-а... — точно прося пощады, жалобно кричит малютка, усердно укачиваемый на руках Дубовым.

Тут выступает вперед боцман Груздев, до сих пор не спускавший серых зорких глаз с ребенка. Это мужчина лет сорока, здоровый, жилистый, точно скрученный из стального троса. Смуглое от загара лицо его в шрамах, покрыто мелкой сетью морщин и жесткой, как иглы ежа, щетиной, отчего оно кажется грубым, точно вырубленное на скорую руку топором. Он — бесстрашный моряк, «сорви-голова», с матросами обращается сурово, ругая провинившихся отборными словами, пуская в ход кулаки. Теперь же он смотрит еще более свирепо, чем когда-либо, и, выпятив крепкую грудь, отдавая честь, глухо обращается к старшему офицеру:

— Ваше высокобродье, дозвоьте мне ребенка взять...

— Для чего? — удивленно спрашивает тот.

— Вспою и вскормлю его... Бездетный я... Вот и будет у меня за сына...

— Выдумщик ты, я вижу...

Груздев, тяжело дыша, волнуется, широкие ноздри его вздрагивают. Возвысив голос, он умоляет:

— Я серьезно говорю, ваше высокоблагородье, отдайте мне ребенка. Куда его

полиция денет? В воспитательный дом отдаст... на погибель... Жалко. Я его в люди выведу.

Ребенку попадает в рот пеленка. Он, замолкая, начинает сосать ее. Черные блестящие глазки его открыты, на длинных ресницах, сверкая, дрожат росинки слез.

— Верно, жаль. Тоже ведь — существо... — взглянув на него, говорит старший, смягчаясь, и лицо его вдруг озаряется доброй улыбкой. — Ну, что ж, если уж так хочешь, бери ребенка. За три дня успеешь отвезти его к жене?

— Так точно.

— Хорошо, попрошу у командира отпуск для тебя.

— Покорнейше благодарю, ваше высокородье! — просияв, радостно отвечает Груздев.

Он берет от Дубова ребенка, который снова расплакался, и спешит в носовую часть судна, приговаривая:

— Молчи, малый, молчи... Моряку плакать не полагается... Сейчас я тебе поужинать дам.

— Что, Евстигней Матвейч, сына приобрели? — шутливо спрашивают его матросы.

— Да, да, братцы, приобрел... Теперь я с сынком...

Через несколько минут, достав от офицерского повара бутылочку и молоко, боцман

уже сидит у себя в маленькой каюте. Рядом с ним стоит корзинка. Он заперся на ключ. На коленях у него лежит малютка, жадно высасывая розовым ротиком молоко из бутылки и рассматривая незнакомое лицо.

— Ишь, как проголодался, сиротик бедный. Ну, ничего, набирайся силы. Задружим с тобой... Дмитрием буду звать, а попросту — Митькой...

Груздев, тихо поцеловав ребенка в голову, приветливо улыбается. Лицо его просветлело радостью, щурясь, сияют теплой лаской серые глаза, от которых лучами разбегаются морщинки. Он продолжает тихо говорить, урча, точно довольный медведь:

— Подрастешь, вместе в кругосветное плавание махнем... Эх, жавороночек ты мой, много разных чудес тебе покажу! Погуляем-то как! И морскому делу научу... А не хошь моряком быть — в науку отдам. Есть у меня четыре сотняжки. К тому времени еще прикоплю... Так-то, брат, ученым будешь...

Накормив ребенка, боцман кладет его на койку, а сам, осветив электрической лампочкой свою каюту, становится перед ним на колени. Ребенок, почти голый, в одной лишь короткой рубашечке, перебирает ручками и ножками.

— Э, да ты гимнаст первый сорт! Славно, Митек, ей-богу, славно!..

Малютка кажется здесь таким милым, точно распустившийся цветок. Боцман не может налюбоваться ребенком, пока его не зовут наверх.

Темнея, медленно угасает вечерняя заря. Небо украшено узорами сверкающих звезд, точно там, в беспредельной выси, готовятся к какому-то торжеству. Море дышит бодрящей свежестью. В темной воде, дробясь, отражаются огни кораблей. Обозначая время, на крейсере начинают бить в колокол. Вдали слышатся ответные звуки, точно суда перекликаются между собою. Веселый, переливающийся гул меди, огласив тишину ночи, тихо замирает в просторе моря.

Боцман с ребенком на руках спускается по трапу в паровой катер. Он настроен так празднично, как никогда.

— Баба-то моя, слышь, как обрадуется такому подарку... — в безотчетно радостном порыве обращается боцман к рулевому, а тот, не отвечая, командует в машину:

— Ход вперед!

Катер вдруг точно ожил, зашипел и, дрожа всем корпусом, шумно рассекая воду, понесся по направлению к городу, залитому огнями.

## **ПОШУТИЛИ**

Крейсер 2-го ранга «Самоистребитель» — как

называли его матросы за то, что он уже неоднократно покушался разбиться о камни, — глубоко и ровно бороздил зеркальную гладь воды, держа курс к французским берегам.

Ветер замер. Сверху лились потоки зноя. Широко раскинулось море и голубело, как небо, а там, где преломлялись в нем лучи солнца, ослепительно сияло.

Усталые матросы, пользуясь свободным послеобеденным временем, крепко спали кто где мог: на палубе, рострах и мостиках. От жары разметались корявые руки и босые ноги с широкими ступнями и кривыми пальцами. Кое-где слышалось звонкое всхрапывание. По временам кто-нибудь лениво ворочался или тревожно поднимал голову, шурясь, бестолково водил вокруг себя заспанными глазами, словно что-то соображая, и снова засыпал мертвым сном.

Крейсер, недавно окрашенный в серо-зеленый цвет, с вымытой палубой и сверкающей медью, был безукоризненно чист и опрятен, словно приготовился к торжественному празднику. И несся он по светлой шелковой равнине легко и плавно, оставляя за собою длинное серое облако дыма. Казалось, что его зовет, манит светло-голубая даль, а он, бурля воду, во всю мочь стремится туда, в сияющую даль. Мачты, вытянувшись, точно часовые матросы у флагов, резали синеву неба.



Напружинившись, нервно вздрагивали туго натянутые ванты. Над кораблем, кружась, летали чайки и жалобными криками выпрашивали пищу.

Удар в судовой колокол возвестил, что времени — половина второго.

Вахтенный начальник, петухом прохаживаясь по верхней палубе, отдал приказание:

— Команду будить.

Квартирмейстер Дергачев, высокий ростом, неуклюже сложенный, с круглым загорелым лицом, лоснящимся, как медный бак из-под супа, просвистал в дудку и, набрав в себя воздух, зычно скомандовал:

— Встава-й! Ча-ай пить!

Молодые матросы вскакивали на ноги торопливо и, протирая глаза, испуганно озирались кругом. Старые поднимались медленно и вяло, а некоторые из них, потягиваясь и сочно зевая, продолжали еще нежиться в теплых лучах летнего солнца.

Настроен Дергачев был злобно: час тому назад, передавая командиру какое-то поручение вахтенного начальника, он все перепутал, за что получил жестокий разнос.

— Вставай, вставай! Какого дьявола дрыхнете! — направляясь в кормовую часть судна, сурово выкрикивал он, на ходу подталкивая ногою лежащих.

Матросы из баковой аристократии, недовольные тем, что нарушили их сладкий и безмятежный сон, сердито ворчали:

— Эх, скулила!

— Ишь, как авралит!

— Эй, сват акулы, глотку вылудил бы! А то хрипит!

Дергачев, показывая кулак величиною с детскую голову, огрызался:

— Подожди, дармоеды, я вас еще промурыжу! Черти! И зачем только вас на службе держут!

Поднялся на задний мостик, послышалась отборная ругань. Через минуту и там были все на ногах.

Только один матрос, весь покрытый копотью и грязью, продолжал лежать, не обращая ни на что внимания.

Такая непочтительность к власти сильно задела квартирмейстера, тем более что у этого грязного человека не было видно на плечах капральских кондриков.

— А ты, куча навозная, чего валяешься? Особой команды, что ли, ждешь?

Он оглянулся кругом и поддал пинком по животу раз-другой, точно по мешку с зерном.

Матрос остался неподвижным.

— Вот сонный дьявол! — даже удивился Дергачев. — Ну, подожди, я тебя проучу.

Он снял со своей шеи медную цепочку от дудки и сильно, несколько раз хлестнул ею лежащего матроса.

Тот даже не пошевелился.

— За что убил человека? — зловеще крикнул чей-то глухой голос.

Дергачев вздрогнул, и лицо его вдруг стало серым. Рука беспомощно опустилась, нижняя губа отвисла, как у замученной лошади. Застыв на месте, он безжизненно, отупелыми глазами оглянулся вокруг, — знакомые лица подчиненных ему людей ответили злорадными взглядами, почти в каждой паре глаз сверкало что-то новое, непривычное, пугающее.

Дергачев попятился, точно его ударила невидимая рука, тяжело передвинул ноги и вдруг, нагнув, как бык, голову, бросился бежать, гремя ногами по ступеням трапов.

Все офицеры, исключая вахтенных, пили чай в кают-компании, когда вбежал туда Дергачев.

— Ваше высокобродье! — падая на колени перед старшим офицером, крикнул он.

— Это что значит? — топнув ногой, тревожно спросил старший офицер.

Дергачев мотал головою, точно желая спрятать ее, хлопал себя в грудь руками и хрипел:

— Помилосердствуйте... Пропал я... Верой и правдой всегда... Сами знаете... Как приказано...

Для дисциплины...

— Надрызгался? — почти ласково подсказал офицер, чувствуя недоброе, а все другие, молча поднимаясь из-за стола, окружали Дергачева, сумрачно оглядывая его.

— Ваше высокобродье... Защитите... Жена, дети... Как перед богом говорю: слегка хватил...

Старший офицер, оскалив зубы, снова топнул ногою и поднял кулак:

— Говори, болван, в чем дело?

— Ногой по животу... Глядь — а он мертвый...

В кают-компании стало тихо, и в тишине подавленно прозвучало:

— Как? Кто? Кто мертвый?

— Матрос...

— А-а, так ты его убил! — сорвав фуражку с головы Дергачева, тихо сказал старшой.

И снова наступила секунда тяжелого, жуткого молчания.

— Простите! — завыл квартирмейстер.

— Молчать! — рывкнул старший офицер во весь голос. — Под суд пойдешь, разбойник! Показывай — где?

Все бросились вон из кают-компании, торопливо и невразумительно переговариваясь на ходу, а старший офицер отдал распоряжение:

— Доктора позвать. Фельдшеров и санитаров

с носилками наверх. Николай Аркадьич! Идите скорее в рубку и доложите о несчастье командиру.

Юный мичман, оправляясь, побежал в рубку, а офицеры тесной толпой поднялись на мостик.

Дергачев, без фуражки, качаясь, шел впереди всех: лицо его налилось кровью и снова стало медным, а глаза точно выцвели. Вдруг он остановился, вздрогнув, растерянно озираясь, приложив руку ко лбу: на месте, где лежал покойник, никого не оказалось, лишь вдали несколько матросов, приготавливаясь к чаю, искоса поглядывали на офицеров.

— Где же убитый? — угрюмо спросил старший офицер.

Дергачев тупо посмотрел вокруг.

— Вот тут он... Вот тут...

— Где?

— Должно, убрали... унесли, — бормотал Дергачев и вдруг крикнул, подняв руку к голове:

— Убежал, ваше высокобродье!

Несколько молодых офицеров фыркнули, матросы ухмылялись, а старшой, перекосив физиономию, вцепился обеими руками в грудь Дергачева и, встряхивая его во всю силу, захрипел:

— Что-о? Мертвецы бегают?! Да ты издеваться надо мной!

— Так точно... Я... как это... — пытался он что-то сказать, но не находил нужных слов: они

куда-то исчезли, а на язык нелепо просилась песня про акулькину мать, и это было обидно Дергачеву почти до слез.

Весь задрожав от ярости, старший офицер поперхнулся и тяжело закашлялся.

— На каком основании ты побежал в кают-компанию, а не доложил мне первому? — ядовито придрался к Дергачеву вахтенный начальник, прищуривав острые, недобрые глаза.

— Умереть не умерла, — шептал Дергачев.

— Ты что губами шлепаешь? — орали на него.

Он глубоко вздохнул и с усилием плотно сжал губы.

Прибежали фельдшер и санитары с носилками; вслед за ними появился доктор, небольшой человечек; на тощем, желтом лице его вместо бороды сердито торчал клочок рыжих волос, серые глаза были неподвижно мертвы. Матросы называли его помощником смерти.

Наконец, переваливаясь с ноги на ногу и шумно пыхтя, поднялся на мостик сам командир. Низкого роста, но несуразно толстый, всегда потный, с распухшим синим лицом, он похож был на разбухшего утопленника. Нервно теребя свою черную бороду и захлебываясь слюной, он еще издали набросился на старшего офицера:

— На корабле убийство! Безобразия! Как вы

допускаете это!

Все вытянулись, но стали меньше ростом, незаметнее, и все замолчали.

— Извините, Анатолий Аристархович, что вас побеспокоили, оправляясь, виновато, негромко заговорил старший офицер. — Вот этот дурак переполох наделал. Но я положительно не могу его понять. Бог знает что говорит...

Он стал кратко докладывать о происшествии.

Чайки, опускаясь, кружились над головами людей низко, как будто тоже желали узнать, в чем дело.

Дергачев, как столб, стоял в стороне и все смотрел на то место, где лежал убитый и теперь исчезнувший человек, — глаза его были сухи, и зрачки расширены.

— Это ты что, а? — обратился к нему командир.

Он встрепенулся, быстро приложил руку к голове и, ничего не отвечая, бессмысленно уставился в лицо начальника.

— Как смеешь отдавать честь без фуражки? — закричал командир.

Дергачев продолжал отдавать честь, пока командир насильно не дернул его руку вниз. Голова его была пуста, словно все эти грозные слова начальства вышибли из него мозг. Он чувствовал лишь одно, что все кругом него качалось и

двигалось, как во время сильной бури, а в памяти визжали слова пьяной песни:

Умереть не умерла,  
только время провела-а...

Матросы, заполнив почти весь мостик, с любопытством следили за происходившим. От всей души ненавидя «аврального» квартирмейстера, часто их подводившего под ответ начальству, они были довольны, что и над ним наконец стряслась беда.

Офицеры обратились к ним за разъяснением странного случая.

— Так что мы никакого покойника здесь не видали, — ответил один из толпы матросов.

— Благодаря бога мы еще грудью послужим, — добавил другой.

Общее недоумение все росло, начальство, чувствуя себя глупым, сердилось, досадовало, ворчало.

Командир внимательно посмотрел на Дергачева: у него прыгали губы, а глаза выкатились и дико блуждали.

— Доктор, освидетельствуйте этого человека, — сообразив что-то и нахмурясь, приказал командир. — О результатах сообщите мне.



— Есть! — ответил тот, приложив руку к козырьку.

Старший офицер, успокаиваясь, подошел к Дергачеву и пощупал ему голову.

— Гм... — загадочно промычал он. — Горячая...

Его примеру последовал мичман, маленький, с румяным девичьим личиком.

— Ну, конечно, — подтвердил он и, высунув вперед руки, а голову убрав в плечи, посмотрел на офицеров прищуренными глазами.

Когда Дергачева, сменив с вахты, привели в лазарет, доктор усадил его на стул, внимательно заглянул сквозь пенсне в глаза, понюхал, не пахнет ли изо рта водкой, и начал задавать вопросы:

— Голова часто болит?

Перепуганный пациент, вздрагивая и чувствуя потемнение в мозгу, давал ответы сбивчивые, путался, стонал и охал.

— Ваше благородие... простите. Это нельзя понять. Действительно я ударил, он будто помер. Я так чувствовал, что помер он. Дозвольте переключку... Как же? А может, он не до смерти помер, а мне погибать? За что?

— Молчи! — крикнул доктор, дергая себя за рыжий клочок волос.

Он приказал квартирмейстеру положить ногу на ногу, ударил молоточком ниже колена и, увидев,

что нога живо вспрыгнула, просиял от радости:

— Эге! Рефлексы повышены.

Повернул молоточек и ручкой провел несколько раз по обнаженному животу:

— Гм... кожные отсутствуют...

Доктор продолжал свои исследования, щекоча пятку, ударяя молоточком в разные части тела, дергая вверх стопу. Руководящая нить, ведущая к диагнозу, то ускользала, то опять попадала в сферу мысли врача, и по мере этого лицо его омрачалось или просветлялось.

— Ваше благородие, — всхлипнув, не унимался Дергачев, — обязательно надо перекличку... Кто живой, кто мертвый... как же?

— Встань! Закрой глаза! — командовал между тем доктор.

Дергачев встал, зажмурил глаза, но через минуту потерял равновесие.

— Ромберг положителен, — торжествующе заключил доктор, поправляя на носу пенсне.

— Ваше благородие, до смерти он помер или нет?

— Подожди. Отвечай только на вопросы. В семье у тебя не было умопомешательства?

Квартирмейстер молчал.

— Родители твои водку пьют?

— Только отец. Он здорово может хватить. А матери у меня совсем нет...

Из дальнейших расспросов выяснилось, что мать погибла в ранней молодости, упав в глубокий колодезь.

— Так, так. Но тут могло быть и самоубийство...

Доктор начал допытываться о всех родственниках.

— Ваше благородие, отпустите. Что вы меня мучаете?

— Стой! Спишь как?

— Я не сплю. Я все понимаю.

— Э, черт! — рассердился наконец доктор. — Уберите его! Все ясно...

Вечером командир получил письменный ранорт. Доктор подробно и обстоятельно доказывал, что квартирмейстер 2-й статьи Дергачев страдает болезнью мозга и галлюцинирует. А так как крейсер «Самоистребитель» шел все дальше от России, то командир, не сомневаясь в правдивости докторского заключения, положил следующую резолюцию:

«Старшему офицеру к сведению: если больному не будет легче, то в первом же порту списать его в госпиталь».

На второй день крейсер бросил якорь на рейде французского портового города.

Часов в девять утра к Дергачеву, который находился под замком в лазарете, опять пришел

врач.

В одно мгновение больной вскочил с кровати и стал в угол. За ночь он стал неузнаваем: лицо почернело, как чугун, вокруг глаз вздулась опухоль, и все тело дрожало, как у паралитика. Он безмолвно уставился на доктора жуткими, налившимися кровью глазами.

— Да, дело дрянь, — взглянув на него, заключил доктор и не стал даже его расспрашивать.

Снова о Дергачеве доложили командиру.

— Отправить во французскую больницу сейчас же.

Сказано — сделано. Не прошло и получаса, а паровой катер, попыхивая дымом, уже мчался к пристани. В корме сидел доктор, покуривая душистую гаванскую сигару и любуясь живописным видом города. А Дергачев, пасмурный, как ненастный день, находился в носовой части. Два матроса, назначенные в качестве сопровождающих, крепко держали его за руки.

Дергачев сначала как будто не понимал, что с ним делают, но на свежем воздухе ему стало лучше.

— Братцы! — взмолился он. — Руки-то хоть пустите. Ведь не убегу же я...

— Так приказано, — строго ответили ему.

— Куда же вы меня везете, а?

— Если рехнулся, так куда же больше, как не

в желтый дом.

— Что вы, что вы. Ах, ты, господи! Я как следует быть: все в порядке... Я вас обоих узнаю: ты вот — Гришка Пересунько, наш судовой санитар, а ты — Егор Саврасов, матрос второй статьи...

— Ладно, заправляй нам арапа, — отозвался санитар внушительно. — Его благородие, господин доктор, лучше тебя понимает. На то науки он проходил. И ежели признал, что нет здравости ума, тут уж, брат, не кобенься.

Другой же матрос, предполагая, что умалишенный так же опасен, как и всякая бешеная собака, на всякий случай пригрозил:

— Только ты смотри — не балуй. Это я насчет того, чтобы не кусаться. В случае чего всю храповину разнесу.

Дергачев сдвинул брови, бросил на матроса негодующий взгляд, но ничего не сказал. Он оглянулся назад. Родной корабль, на котором он прослужил почти четыре года, уходил в даль моря, таял в ней, а впереди шумно вырастал чуждый город, облитый знойным солнцем, но жутко холодный. И вдруг впервые будущее представилось ему с жестокой ясностью: чужие люди наденут на него длинную рубаху, прикуют его на цепь к кровати; и будет он, одинокий, всеми забытый, чахнуть вдали от родной стороны, быть может,

долго, много лет, пока не придет конец. Беспредельная тоска потоком хлынула в грудь, крепко сжала сердце. Глаза налились слезами и часто заморгали...

— Эх, пропала моя головушка! — вздохнул он, безнадежно покрутив головой.

Матросы молчали, не глядя друг на друга. Толсторожий черный Пересунько опустил глаза, большие, как вишни, в воду, уже мутную от близости порта и ослепительно отражавшую солнечные лучи. Саврасов задумчиво курил, поглядывая на берег, где огромные здания, теснясь к берегу, как будто толкали друг друга в море, а те, которые отразились в нем, казалось, уже упали с берега, потонули и разламываются, размываемые соленой крепкой водой.

— Братцы, — тихо спросил Дергачев, — как это все вышло, а?

Матросы словно не слышали вопроса, оба неподвижные, как мешки.

Высидевшись на берег, они отпустили его руки, и Дергачев тяжело шагал между ними по каменной мостовой, точно обреченный на смерть, низко опустив голову, ни на кого не глядя и не говоря ни слова. И так долго он шел сам не свой, пока не запахло лекарствами. Как бы очнувшись от забытья, он приподнял голову и насторожился. Холодно взглянуло на него огромное каменное

здание госпиталя. Кое-где в открытых окнах виднелись лица больных. Через двор, осторожно шагая, служащие переносили на носилках человеческое тело — не то живое, не то мертвое.

Дергачев вздрогнул. В глазах зарябило, и сердце замерло на секунду. Снова вспомнилась длинная рубаха, цепь, кровать... Больно царапнуло внутри, точно укололо самую душу, самое живое место. Дергачев шарахнулся в смертельном страхе прочь от госпиталя, побежал куда-то вниз, прыгая, как большой резиновый мяч.

— Держи-и! — завыли вслед ему.

Несколько минут спустя в городе царила нелепая суматоха. Заполняя площади и улицы, катясь и рассыпаясь, стремительно мчался живой, пестрый бурный поток людей: мужчин и женщин, стариков и детей, солдат и полицейских. Сталкиваясь друг с другом, люди кричали, спрашивали один другого:

— Где? Сколько? Кто?

И снова мчались с криком, свистом, со смехом.

Ловили Дергачева, который сажеными прыжками метался из улицы в улицу, сбивая людей с ног, наводя ужас на встречных. Никто не решался схватить его: он держал в правой руке увесистый кусок булыжника, а на искривленном его лице глаза горели дикой решимостью.

Свист полицейских разрывал ему уши. Он уже приближался к окраине города. Но тут, сбегая с горы, видя перед собою широкое, свободное море, за что-то зацепился и полетел вниз кубарем, ободрав до крови лицо. В эту минуту на него сразу навалилось несколько человеческих тел. С буйной яростью начал было он вырываться, страшно изгибаясь и напрягая свои крепкие, как стальные пружины, мускулы. Но десятки рук согнули его, скрутили; чувствуя себя побежденным, он завыл нечеловеческим голосом:

— А-а-а...

Его связали и, взвалив в экипаж, точно куль муки, отправили в госпиталь.

Матрос Саврасов сидел у него на ногах, а санитар Пересунько крепко держал его за плечи.

— Ух, окаянная сила, замучил! — сказал первый.

— А еще морочил нам голову, — подхватил второй. — Я, говорит, как следует быть, в порядке. Так ему и поверили! Шалишь, брат...

Дергачев сидел смирно и лишь тяжело стонал. Ободранное лицо его безобразно распухло и стало похожим на кусок сырого мяса.

Доктор подъезжал к «Самоистребителю».

Офицеры, заметив его, оживленно бросились к правому трапу, а за ними, немного робея, скрытно усмехаясь, подошли и матросы.



— Ну, как ваш пациент? — спросил лейтенант, когда усталый доктор поднялся на палубу.

— И не говорите! Сколько этот подлец хлопот нам наделал!

Некоторые из офицеров, не утерпев, громко фыркнули. Доктор неодобрительно взглянул на них, продолжая:

— Понимаете, в процессе буйного помешательства вырвался из рук и помчался по городу. Всех французов поднял на ноги. Едва поймали его. Да, а вы — смеетесь. Над чем это, позвольте спросить?

Дружный раскатистый хохот ответил ему; доктор обиженно вытянулся, поправил фуражку, надул щеки.

— А мы, дорогой наш психолог, только что хотели за вами посылать, и уж шлюпки наготове, — сказал первый лейтенант, движением руки умеряя смех, но тоже усмехаясь весело и открыто.

Офицеры отвели врача в сторону и начали что-то ему рассказывать. По мере того как он выслушивал их, лицо его изменялось, вытягиваясь и быстро меняя выражение, — сначала недоверчивое, оно быстро стало смущенным и потом исказилось ужасом. Он вдруг весь съежился и, схватившись руками за голову, убежал с верхней палубы, выкрикивая:

— Не может быть! Нет! Это шутка... злая шутка!

За ним побежал мичман, крича:

— Доктор! Вас требует командир.

Доктор остановился, мотнул головою и пошел в командирскую каюту.

Там уже находился кочегар Криворотов, парень квадратного вида и крепкого, как гранит, телосложения, с тупым лицом и телячьими глазами. Глуп он был непомерно, однако среди команды стяжал себе большую славу, пробивая лбом деревянные переборки, сбивая им с петель двери и давая за полбутылку водки бить себя по животу поленом.

Криворотов, по приказанию командира, подробно рассказал, как подвел квартирмейстера Дергачева, притворившись мертвым, когда тот наносил ему побои.

— А больно тебе было? — полюбопытствовал командир.

— Так себе. Я даже не почувял, хоша он двинул пинком с усердием, на совесть... По пузу. После обеда trebuха была набита туго. Ну, значит, удары отскакивали, как от резины. Вот цепочкой обжег ой-ой как! Но все же я стерпел, ваше высокоблагородье, — ухмыляясь, заключил кочегар не без гордости.

Командир как-то натянуто, неестественно